КОДЕКС ЧЕСТИ

Анатолий Шигапов

Анатолий Шигапов

КОДЕКС ЧЕСТИ

«Автор»

2026

Шигапов А.

КОДЕКС ЧЕСТИ / А. Шигапов — «Автор», 2026

Это роман о долге, чести и любви. О людях, которые выбирают - каждый день, каждый час. О том, что история не заканчивается: она продолжается в нас. И о том, что долг - это не груз. Это крылья.

© Шигапов А., 2026
© Автор, 2026

Анатолий Шигапов
КОДЕКС ЧЕСТИ

Предисловие

Дорогой читатель!

Прежде чем вы перевернёте первую страницу, я хочу сказать вам несколько слов. Не для того, чтобы вы что-то поняли. А для того, чтобы вы что-то почувствовали. Потому что эта книга - не просто история. Это - память. Память о людях, которые жили двести лет назад. Которые любили. Которые теряли. Которые шли вперёд. Которые не сдавались.

Я нашла эту историю случайно. Или не случайно. Может быть, она сама нашла меня. В старом доме. На чердаке. В пыли. В забытьи. В тишине. Я разбирала архив - старые бумаги, письма, документы. И вдруг - тетрадь. Толстая, в кожаном переплёте. С буквами «J.-L. Lanne. Ingénieur. 1812». Я открыла её - и не смогла закрыть. Потому что там была правда. Настоящая. Живая. Страшная. И прекрасная.

Я читала её всю ночь. А утром - поняла: это надо рассказать. Не для того, чтобы прославиться. Не для того, чтобы что-то доказать. А для того, чтобы помнили. Чтобы знали. Чтобы не повторяли.

Эта книга - о войне. О той войне, которая была двести лет назад. О той, которая, может быть, не кончилась до сих пор. Потому что война - это не только сражения. Это - выбор. Каждый день. Каждый час. Каждую минуту. Выбор между долгом и страхом. Между правдой и ложью. Между другими и собой.

Алексей Воронцов делал этот выбор каждый день. Он был молодым. Он был смелым. Он был упрямым. Он был человеком. Он боялся. Он ошибался. Он терял. Но он шёл вперёд. Потому что знал: если не он - то кто? Кто-то же должен. Кто-то же должен спасать. Кто-то же должен помнить.

Настя Корф делала этот выбор каждый день. Она была молодой. Она была смелой. Она была сестрой милосердия. Она перевязывала раненых. Она держала за руку умирающих. Она любила. Она теряла. Она шла вперёд. Потому что знала: если не она - то кто? Кто-то же должен помогать. Кто-то же должен спасать. Кто-то же должен любить.

Гаврила, Степан, Петя... Они делали этот выбор каждый день. Они были разными. Они были живыми. Они боялись. Они спорили. Они ошибались. Но они шли вперёд. Потому что верили. В Россию. В долг. В своего поручика.

Эта книга - о них. О всех них. О тех, кто жил двести лет назад, - и о тех, кто живёт сейчас. Потому что история не заканчивается. Она продолжается. В нас. В наших детях. В нашей памяти. В наших сердцах.

Я писала эту книгу с крыльями. И заканчиваю её - с крыльями. Потому что долг - это не груз. Это крылья. Я это знаю. Я это чувствую. Я это помню.

Пусть ваши крылья будут крепкими. Пусть ваша память будет долгой. Пусть ваша Россия будет жить.

Спасибо, что прочитали. Спасибо, что помните.

Анатолий Шигапов

«Память - это не прошлое. Это будущее».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 1812

Глава 1. Последний шифр

24 июня 1812 года. Вильно. Три часа пополуночи.

Поручик Алексей Воронцов проснулся от того, что денщик Прохор тряс его за плечо - грубо, не церемонясь, как трясут только в двух случаях: когда пожар или когда война.

- Ваше благородие... француз. Неман перешли.

Воронцов сел на кровати. Койка скрипнула - старая, походная, с продавленным соломенным тюфяком. Голова гудела после вчерашнего ужина у полкового адъютанта, где пили сливовицу и спорили о том, будет ли война. Спорили до хрипоты. Одни говорили: не посмеет Бонапарт, Тильзитский мир подписан, государь сам руку жал. Другие говорили: посмеет, ибо что ему мир, когда вся Европа у ног. Воронцов тогда молчал. А теперь - вот она, война. Пришла, не спросившись.

За окном было темно - короткая июньская ночь, та самая, когда заря с зарей сходится. Где-то далеко, на западе, небо словно подёрнулось дымной поволокой. Или это уже горели бивачные костры - тысячи, десятки тысяч, растянувшихся на вёрсты вдоль реки. Воронцов смотрел на эту поволоку и чувствовал, как внутри что-то сжимается - медленно, туго, как пружина в старых часах.

- Врёшь, - сказал он хрипло.

Он сам не знал, зачем это сказал. Не потому, что не верил. А потому, что поверить означало признать: то, чего ждали шесть лет, - свершилось. Шесть лет. С того самого дня в Тильзите, когда он, восемнадцатилетний юнкер, стоял в строю кавалергардов и смотрел, как два императора обнимаются на плоту посреди Немана. Тогда все говорили: мир. Тогда все говорили: конец войне. А он, мальчишка, чувствовал только одно - неправильно это. Не так должны встречаться победители и побеждённые. Не так.

- Так точно, ваше благородие, - Прохор перекрестился мелко, часто, как крестятся люди, выросшие в деревне, где Бог живёт не в церкви, а в каждой избе, за каждой печкой. - Государь приказал поднимать всех. Гонец от Барклая прискакал час назад. Француз мосты наводит. Переправа идёт. Слышно, как ихние барабаны бьют. От самой реки слышно. - Он помолчал и добавил шёпотом, словно боялся, что кто-то услышит: - Говорят, сам Бонапарт там. На коне. Смотрит.

Прохор был мужик немолодой - лет сорока пяти, с широкой бородой, в которой уже пробивалась седина, и руками, которые, казалось, могли гнуть подковы. Он служил у Воронцова третий год - с тех пор, как Воронцов, тогда ещё прапорщик, выкупил его из крепостных у разорившегося помещика. Выкупил не из благородства - просто стало жалко. Прохор тогда стоял на торгах, в цепях, смотрел в землю и молчал. А когда Воронцов заплатил и велел снять кандалы, Прохор упал на колени и заплакал. С тех пор он ходил за Воронцовым тенью - чистил сапоги, штопал мундир, варил кашу, а по ночам, когда Воронцову не спалось, сидел рядом и рассказывал про свою деревню - про реку, про лес, про то, как по весне заливаются соловьи так, что уши закладывает.

Воронцов уже натягивал сапоги. Пальцы не слушались - то ли со сна, то ли от чего-то другого. Сапоги - старые, разношенные, с потёртыми носками и заплаткой на левом каблуке. Он надевал их каждое утро последние шесть лет. С тех пор, как восемнадцатилетним юнкером покинул родовое имение под Смоленском и отправился в Петербург, в кавалергардский полк. Мать плакала, стоя на крыльце, - маленькая, седая, в тёмном платье, которое носила с тех пор, как умерла её мать. Отец хмурился и повторял: «Служи, Алеша. Служи честно. Мы - Воронцовы, мы всегда служили». А потом отец умер - тихо, во сне, так и не увидев, как сын стал офицером. Алеша получил письмо через месяц после похорон. Прочитал у окна в казарме, сложил вчетверо и спрятал в нагрудный карман, поближе к сердцу. С тех пор прошло четыре года, а он всё носил его с собой. Бумага истёрлась, края обмялись, но буквы были ещё видны - крупные, с наклоном, с завитушками. Как у матери.

- Где генерал? - спросил он, натягивая мундир. Мундир был мятый - вчера снял, бросил на стул, а Прохор не успел погладить.

- В штабе. Всех офицеров кличут. Беннигсен сам приказал: как только, так сразу. - Прохор суетился, подавая шпагу, и руки у него дрожали. - Ваше благородие, а как же... ведь мир-то заключён был. С Францией. В Тильзите. Государь сам...

- Был заключён, - отрезал Воронцов. - И что?

Он проверил, на месте ли шпага, - привычное движение, отработанное до автоматизма. Потом поправил на груди маленький медный образок Николая Угодника, потемневший от времени и прикосновений. Мать дала ему, когда он уходил в армию. «Носи, Алешенька. Он тебя сохранит». Она сама нашила на обратной стороне кусочек красного шёлка - от своего любимого платья, того самого, в котором венчалась с отцом. Образок был тёплым от тела, и это тепло было единственным, что связывало его с домом. С домом, где мать, наверное, уже не спит - сидит у окна, смотрит на запад и молится. С домом, где отец лежит под старой яблоней, и над ним шумит листва, и пахнет антоновкой, и всё так же, как было, только его нет.

- Прохор, - сказал он, уже у двери, и голос прозвучал глуше, чем он хотел. - Если что... ты знаешь, где мои письма.

Денщик замер. Потом судорожно сглотнул.

- Бог даст, обойдётся, ваше благородие.

- Ты знаешь, где они, - повторил Воронцов, не оборачиваясь. - В шкатулке. Под бельём. Если что - отдашь в полк. Там разберутся. - Он помолчал. - Матери напишешь. Сам. Не казённо. По-человечески.

Он вышел в коридор, не дожидаясь ответа.

За окнами штабной квартиры - бывшего дома виленского купца, с толстыми стенами и высокими потолками, - слышались крики, топот, ржание лошадей, лязг оружия. Ночь была тёплой, июньской, и пахло сиренью. Густой, сладкой, дурманящей сиренью, которой зарос весь двор. Сиренью, а не порохом. Пока - только сиренью. Воронцов на секунду остановился на лестнице, у открытого окна, и вдохнул полной грудью. Он хотел запомнить этот запах. Почему-то ему казалось важным запомнить. Запомнить, что война начинается не с пороха, не с крови, не с криков, а с сирени. С тихого, мирного, обыденного запаха. С того, что было до.

В штабе уже собрались. Горели свечи в канделябрах, их пламя колебалось от сквозняка, и тени на стенах метались, как живые. Генерал-лейтенант Беннигсен стоял над картой, разложенной на большом овальном столе. Лицо у него было серым - не от бессонной ночи, а от чего-то более глубокого, въевшегося, как многолетняя усталость. Он был немолод - лет шестидесяти, с длинным носом, с жидкими седыми волосами, с глазами, которые видели слишком много, чтобы ещё чему-то удивляться. Он воевал с Наполеоном ещё в Пруссии, в 1807-м, - тогда, под Фридландом, его армия была разбита, и с тех пор он знал: этого человека нельзя победить обычным способом. Его можно только перехитрить. Или переждать.

- Господа, - сказал он, и в комнате мгновенно стало тихо. - Наполеон перешёл Неман. Двенадцать корпусов. Более четырёхсот тысяч человек. Наша армия - двести тысяч. Мы будем отступать.

Кто-то из офицеров выругался - глухо, сквозь зубы. Кто-то побледнел. Молодой прапорщик у окна судорожно схватился за крестик на шее. Воронцов просто стоял и смотрел на карту. На синие точки, обозначавшие французские полки. Они ползли с запада, как саранча, как вода, заливающая поле во время паводка. И не было силы, которая могла бы их остановить. Пока - не было.

- Отступать? - переспросил седой полковник с Георгием на шее. Георгий был старый, выцветший, но полковник носил его с гордостью - видимо, ещё с Итальянского похода, с Суворовым.

- Отступать, - жёстко повторил Беннигсен. - И чем быстрее мы это поймём, тем больше людей останется живыми. Мы не можем дать генерального сражения сейчас. Нам нужно пространство. Нужно время. Нужно соединиться с армией Багратиона. Иначе нас раздавят по частям. - Он помолчал. - Как котят.

В комнате стало ещё тише. Где-то за окном прокричал петух - горластый, деревенский, совершенно неуместный в этот предрассветный час. Воронцов вдруг подумал: вот петух. Он не знает, что война. Он просто кричит, потому что привык кричать на рассвете. И ещё подумал: сколько таких петухов останется после того, как французы пройдут по этой земле? Сколько деревень сгорит? Сколько людей умрёт?

- Воронцов, - окликнул его Беннигсен.

- Я, ваше высокопревосходительство.

- У тебя французский как родной?

- Так точно. - Воронцов не стал уточнять, что учил его с гувернёром-французом, что читал в подлиннике Вольтера и Руссо, что переводил для полка бумаги, захваченные у неприятеля ещё в прошлую кампанию. Не стал уточнять, что гувернёр его, месье Жерар, был старый республиканец, бежавший от Наполеона, и что именно он, Жерар, научил его не только языку, но и главному: «Свобода - это не то, что дают. Это то, что берут. И за что умирают».

- Хорошо. - Беннигсен поманил его к столу. - Час назад лазутчики взяли в плен французского офицера. Инженер. Корпус Даву. Он ранен - тяжело. Ядром. Ногу оторвало. Но перед тем как потерять сознание, он всё повторял одно слово. «Кремль». И ещё что-то... про воду. Про колодцы. Я хочу знать, что это значит.

Воронцов нахмурился. Кремль - это Москва. Но почему умирающий французский инженер говорит о Кремле здесь, на Немане, в Вильно, за тысячу вёрст от Москвы? И при чём тут колодцы? Вода? Что за бред? Или не бред?

- Сейчас? Его можно допросить?

- Он в лазарете. Врач говорит: может не дожить до утра. - Беннигсен посмотрел на него в упор. Глаза у него были усталые, но острые - как у старого охотника, который уже не может идти, но ещё может указывать, куда идти. - Поторопись, поручик. Если в этом что-то есть - узнай. Если это бред - тоже узнай. Мне нужно знать, что это значит.

Воронцов вышел.

Уже светало, когда он шагал по улице. Небо на востоке наливалось розовым, потом золотым, и сирень пахла ещё сильнее - дурманяще, до головокружения. Где-то за рекой трубили французские горны. Звук был чистый, звонкий, совершенно не страшный - и от этого почему-то ещё более зловещий. Как будто французы не на войну шли, а на праздник. Как будто они уже знали, что победят. Как будто им и в голову не приходило, что русские могут сопротивляться.

Воронцов шёл мимо домов с закрытыми ставнями, мимо костёла с высоким шпилем, мимо толпы беженцев, которые уже потянулись на восток - с узлами, с детьми на руках, с телегами, нагруженными скарбом. Старуха в чёрном платке сидела на камне у дороги и качала на руках куклу - не ребёнка, куклу, тряпичную, с нарисованными глазами. Воронцов отвернулся. Ему вдруг стало страшно - не за себя, за них. За всех этих людей, которые ещё не знают, что их ждёт. За старуху с куклой, за женщину с ребёнком, за мальчишку, который бежал рядом с телегой и смеялся, потому что думал, что это игра.

Лазарет размещался в соседнем здании - бывшей школе при костёле. Воронцов толкнул тяжёлую дверь и вошёл. Пахло кровью, карболкой и потом. И ещё чем-то - тяжёлым, сладковатым, тошнотворным. Запахом смерти. Раненые лежали вповалку на соломе, кто-то стонал, кто-то молился, кто-то молчал - и это молчание было страшнее всего. Воронцов шёл между рядами, стараясь не смотреть на лица. Но смотрел. Не мог не смотреть. Молодой солдат с разорванным животом, глаза открыты, уже неживые. Другой - без руки, бледный, как полотно, шепчет что-

то, наверное, молитву. Третий - совсем мальчишка, лет семнадцати, с простреленной грудью, смотрит в потолок и улыбается. Улыбается. Воронцов отвернулся.

Француз лежал в углу, на отдельной койке. Молодой - лет двадцати пяти, не больше. Красивый, с чёрными волнистыми волосами, разметавшимися по подушке. И бледный до синевы. Левая нога у него была ампутирована выше колена - грубая, торопливая ампутация, обмотанная окровавленными тряпками. Воронцов понял: он доживает последние часы. Может быть, минуты. Рядом сидел врач - наш, русский, с усталыми глазами и трёхдневной щетиной.

- Кто вы? - спросил Воронцов.

- Коновалов. Лекарь. Из Москвы. - Он поднялся, вытирая руки о фартук. Фартук был когда-то белым, теперь - бурым от засохшей крови. - А вы?

- Поручик Воронцов. От генерала. Он что-нибудь говорил?

- Бредит. По-французски. Я не понимаю. - Коновалов пожал плечами. - Только одно слово разобрал: «Кремль». И ещё... про воду. «Л'о». Вода.

Воронцов кивнул. Подошёл ближе. Француз открыл глаза - мутные, с расширенными зрачками, в которых уже не было ничего человеческого, только боль и страх. Увидел мундир, сощурился.

- Vous êtes... russe?

- Oui. Je suis le lieutenant Vorontsov.

Француз вдруг улыбнулся - слабо, почти незаметно, одними губами.

- Enfin... Наконец-то...

- Что вы говорили про Кремль? - спросил Воронцов, присаживаясь на край койки. - Про колодцы? Что это значит?

Француз закрыл глаза. На секунду Воронцову показалось, что он уже не дышит. Но нет - вот снова поднялась грудь, слабо, судорожно, как у птицы, запертой в клетке. Он умирал. И он знал, что умирает. И торопился.

- Ils... ils vont tout détruire... Они... они всё уничтожат...

- Кто? Наполеон?

- Non... pas Napoléon... - Француз вдруг схватил Воронцова за руку. Пальцы у него были ледяные, но хватка - сильная, отчаянная, как у утопающего. - Le Kremlin... les puits... l'eau... Ils ont un plan... Un homme... à Moscou... Кремль... колодцы... вода... У них есть план... Человек... в Москве...

- Какой человек? Имя?

- Je ne sais pas... Я не знаю... - Француз закашлялся. На губах выступила кровь - тёмная, почти чёрная. - Mais j'ai écrit... Но я записал...

- Что записал? Где?

- Dans mon carnet... В моей тетради... - Он попытался приподняться, но сил не было. - Prenez-le... S'il vous plaît... Возьмите её... Пожалуйста...

Воронцов оглянулся. На столике у койки лежали вещи француза: мундир - синий, с золотыми пуговицами, порванный и окровавленный; сапог - один, второй так и остался где-то на поле боя; сумка - кожаная, потёртая, с тиснёным гербом. Он открыл сумку. Внутри были бумаги, карты, письма, перевязанные ленточкой. И - толстая тетрадь в кожаном переплёте, перетянутая ремешком. Воронцов взял её. Тетрадь была тяжёлой, страницы плотными, уголки загнуты - эту тетрадь часто открывали. Пахла она табаком, чернилами и дорогим одеколоном - запахом человека, который жил, а не просто существовал.

- Это? Здесь?

Француз кивнул. Потом прошептал - так тихо, что Воронцов едва разобрал:

- Ils vont empoisonner l'eau... faire sauter le Kremlin... quand ils partiront... Moscou ne doit pas... Они отравят воду... взорвут Кремль... когда будут уходить... Москва не должна...

Он не договорил. Глаза его закатились. Рука разжалась.

Воронцов постоял секунду. Потом закрыл французу глаза - осторожно, словно боялся разбудить. Перекрестился.

- Царствие небесное, - пробормотал он. - Хоть ты и враг.

Он вышел из лазарета с тетрадью в руке.

Уже совсем рассвело. Воронцов стоял на крыльце и смотрел на запад, туда, где за тёмной полосой леса начиналась чужая армия. Теперь у него была тетрадь. Он открыл её. Первая страница была исписана мелким, аккуратным почерком - цифры, буквы, какие-то символы, крестики, точки. Шифр. Настоящий шифр, не чета тем, что он видел раньше. Воронцов усмехнулся. Усмешка вышла кривой, невесёлой.

- Ну что ж, - сказал он вслух. - Поиграем.

Он вернулся в штаб, сел за стол в углу и зажёг свечу. Бумага пахла чужой жизнью - табаком, чернилами, дорогим одеколоном. Воронцов достал перо, чернильницу и начал переписывать первую строку. Потом вторую. Потом третью. Цифры не складывались. Он пробовал снова. И снова. За окном солнце поднималось всё выше, город шумел, полк готовился к выступлению, кто-то стучал в дверь, звал его, но Воронцов не отвечал. Он видел только цифры. Цифры, которые складывались в буквы. Буквы - в слова. Слова - в имена.

Час проходил за часом. Свеча догорела, фитиль зашипел в лужице воска. Воронцов зажёг новую. Потом ещё одну. Он не чувствовал голода, не чувствовал усталости. Только азарт - холодный, острый, как лезвие. Он всегда любил разгадывать загадки. Ещё мальчишкой, в имении, он часами сидел над отцовскими книгами, пытаясь понять, что скрыто между строк. Отец смеялся: «В тебе, Алеша, погиб сыщик». А мать говорила: «В тебе, Алеша, погиб монах. Ты слишком много думаешь». Может, они оба были правы.

Через час он понял: это не просто шифр. Это ключ. И если он прав - у них есть всего несколько недель.

Он отложил перо и посмотрел в окно. Солнце уже поднялось над Вильно. Где-то там, на западе, Наполеон шёл на восток. А здесь, в маленькой комнате, за столом, сидел человек с одной ногой, тетрадью и упрямством. И этого упрямства, Воронцов знал, хватит, чтобы остановить императора.

Или умереть, пытаясь.

Он снова взялся за перо.

Глава 2. Дневник врага

25 июня 1812 года. Вильно. Шесть часов утра.

К утру Воронцов расшифровал первые три страницы. И то, что он прочитал, заставило его забыть про сон, про еду и про то, что где-то за окнами уже вовсю гремит война.

Он сидел всё там же - за столом в углу штабной комнаты, сгорбившись над тетрадью, и спина у него ныла так, будто он всю ночь таскал мешки с песком. Шея затекла. Глаза жгло, словно в них насыпали песку. На столе выстроились в ряд шесть догоревших свечей - шесть огарков, похожих на обгрызенные пальцы. Воск натёк на бумаги, и Воронцов машинально соскребал его ногтем, пока не понял, что делает. Свеча, которую он зажёг последней, ещё горела - слабо, тревожно, её пламя вздрагивало от каждого его движения, и тень от пера металась по стене, как испуганная птица.

За окном давно рассвело. Вильно просыпался - но не так, как просыпаются города в мирное время. Не было слышно торговцев, которые обычно с рассветом выкатывали на улицы свои лотки с сайками и квасом, не было слышно звона колоколов, не было слышно смеха детей, бегущих в школу. Вместо этого - топот, лязг, конское ржание, отрывистые команды. И где-то далеко, на западе, - глухой, ровный, утробный гул. Барабаны. Французские барабаны. Они били и били, не переставая, словно хотели выбить из земли саму память о тишине.

Воронцов потёр лицо ладонями. Щетина кололась - он не брился вторые сутки. Пахло от него потом, пылью и воском. Он взял со стола лист с переводом и перечитал написанное - медленно, слово за словом, словно надеялся, что при повторном чтении смысл изменится. Не изменился.

«...план утверждён лично императором. Операция "Моисей" - названа так, потому что мы иссушим источник. Когда армия войдёт в город, инженерная команда под руководством полковника Ланна заложит заряды в подземельях Кремля. Взрыв должен уничтожить древние стены и вызвать панику. Одновременно агенты отравят городские колодцы мышьяком. Смертность - до трети населения. Москва перестанет быть символом. Она станет могилой...»

Воронцов отложил перо. В горле пересохло. Он налил воды из графина - тёмного, гранёного, с отбитой пробкой, - выпил залпом, но легче не стало. Вода была тёплой, отдавала жестью - вчерашняя, налитая с вечера. Он поморщился и поставил стакан.

Мышьяк. В колодцы. Треть населения.

Он закрыл глаза - и увидел Москву. Ту Москву, которую знал. Ту, в которой был три года назад, когда ездил в отпуск к матери. Белокаменная, золотые купола, торговые ряды, толпа на Красной площади, лоточники с сайками и квасом, звон колоколов, от которого закладывало уши. Он вспомнил, как стоял с отцом на Москворецком мосту, и отец положил руку ему на плечо - тяжёлую, тёплую, шершавую от работы - и сказал: «Смотри, Лёша. Это не просто камни. Это история. Наша история». Воронцов тогда смотрел на Кремль - красные стены, золотые купола, - и не понимал. Ну, стены. Ну, купола. Что в них такого? А отец смотрел - и у него блестели глаза. Теперь Воронцов понимал. Теперь - понимал.

И представил: пустые улицы, отравленные колодцы, взорванный Кремль. Тишину. Только ветер гонит пыль по булыжникам, да вороны сидят на обломках стен. И дети - те, кто не успел уйти, - пьют воду из колодца и умирают. Медленно, мучительно, в бреду. А матери держат их за руки и не знают, что делать. И некому помочь. Потому что все, кто мог помочь, - тоже мертвы. Или бежали. Или не знают.

Нет. Этого не будет.

Он снова взялся за перо. Рука не дрожала - он сам себе удивился. Наоборот, пальцы стали твёрдыми, словно чужими. Он писал быстро, размашисто, иногда зачёркивал, иногда возвращался назад, сверяя цифры с картой, которую разложил рядом. Карта была старая, потрёпанная, с пометками, сделанными чужой рукой - французской. На ней были отмечены подземелья Кремля - пунктирные линии, крестики, кружки. И колодцы. Семь колодцев. Воронцов обвёл каждый красным карандашом. Семь точек, откуда город брал воду. Семь смертей, которые можно было предотвратить.

«...исполнитель в Москве - доверенное лицо, дворянин. Имя будет сообщено отдельно, через связного. Пароль: "Свобода или смерть". Отзыв: "Смерть тиранам". Связной прибудет в Москву не позднее двадцатых чисел августа. Инженер Ланн будет ожидать сигнала в расположении корпуса Даву...»

Дальше шли цифры - координаты, время, условные знаки. Воронцов переписывал их, сверяя с картой. Подземелья Кремля. Тайные ходы. Колодцы - он отметил на плане Москвы каждый, который упоминался в тетради. Их было семь. Он записал их названия на отдельном листе: Красная площадь, храм Василия Блаженного, Варварка, Пятницкая, Ордынка, Пречистенка, Пресня. Семь названий. Семь мест, где люди - обычные люди, женщины, дети, старики - набирали воду. Каждое утро. Каждый вечер. Не думая, что эта вода может стать их смертью.

Он откинулся на спинку стула. Свеча догорела, фитиль шипел в лужице воска. За окном уже совсем рассвело. Где-то внизу, на улице, играл полковой оркестр - «Боже, царя храни». Воронцов усмехнулся: музыка казалась неуместной, почти кощунственной. Или это он просто устал. Слишком устал, чтобы злиться. Слишком устал, чтобы бояться. Осталось только упрямство - то самое упрямство, которое мать называла «дурью» и которое однажды уже спасло его

под Аустерлицем, когда он вытащил из-под огня трёх раненых, хотя должен был отступить. Тогда ему было двадцать. Тогда он ещё верил, что война - это красиво. Что это - подвиги, слава, ордена. Что это - как в книгах, которые он читал в детстве. Под Аустерлицем он понял, что война - это не книги. Война - это когда твой друг падает рядом, и ты не можешь его спасти, потому что ядро попало ему прямо в голову, и голова - её больше нет, - и ты даже не успеваешь понять, что произошло. Ты просто бежишь дальше. Потому что если остановишься - умрёшь сам. И никто не вспомнит, что ты был. Никто не напишет матери. Никто не скажет: «Он был храбрым». Потому что все, кто мог сказать, - тоже мертвы.

Дверь скрипнула. Вошёл генерал-лейтенант Беннигсен - собственной персоной, без адъютантов. Лицо у него было ещё более серым, чем ночью. Глаза ввалились, под ними залегли тёмные круги. Он был в том же мундире, что и вчера, - помятом, с расстёгнутым воротом. Видимо, не спал. Или спал в кресле, не раздеваясь.

- Ну что, поручик? - спросил он, садясь напротив. Стул под ним скрипнул - генерал был тяжёл. - Есть новости?

Воронцов протянул ему листы с переводом.

- Есть, ваше высокопревосходительство. И новости плохие.

Беннигсен взял листы. Читал долго, шевеля губами - привычка стариков, которые выучились читать по псалтырю и с тех пор не могли читать иначе. Воронцов смотрел на него и видел, как стареет лицо генерала - строчка за строчкой, слово за словом. Как разглаживаются морщины на лбу - нет, не разглаживаются, а углубляются, становятся резче. Как дрожат руки - сначала чуть-чуть, потом сильнее. Как он останавливается на слове «мышьяк», перечитывает его, потом читает дальше. Когда он дошёл до конца, руки у него дрожали так, что листы шелестели. Он отложил бумаги и посмотрел на Воронцова.

- Ты уверен, что это не фальшивка?

- Уверен, ваше высокопревосходительство. Шифр сложный, но не хаотичный. Если бы это была дезинформация, они бы не стали тратить столько сил на такую тетрадь. И потом - француз умер. Люди не врут, когда умирают.

Беннигсен помолчал. Потом встал, подошёл к окну. За окном был двор - заросший сиренью, с колодцем посередине, с поленницей у стены. Где-то кричал петух. Где-то ржала лошадь. Где-то солдат ругался - сочно, по-русски, с той особой виртуозностью, которая приходит только с опытом.

- Знаешь, что самое страшное? - сказал генерал тихо, не оборачиваясь. - Не Наполеон. Не его армия. Самое страшное - что среди нас есть те, кто готов продать всё. За деньги. За власть. За что угодно. И мы не знаем, кто они. Они ходят среди нас, улыбаются, пьют чай, говорят о чести. А потом - предают. И мы даже не успеваем понять, откуда пришёл удар.

Воронцов молчал. Он думал о том, что генерал прав. Он думал о том, что где-то в Москве - сейчас, в эту самую минуту, - сидит человек, который уже согласился. Который уже продался. Который, может быть, пьёт чай и говорит о чести. И никто не знает, кто он. Никто не подозревает. Может быть, сосед. Может быть, друг. Может быть, тот, кому ты жал руку вчера.

- Я найду его, - сказал Воронцов.

- Найди. Но помни: если ты ошибёшься - если обвинишь невиновного или упустишь виновного - Москва может погибнуть. Ты понимаешь?

- Понимаю.

Беннигсен обернулся. В глазах у него было что-то странное - не приказ, не просьба, а какая-то отчаянная, почти безнадёжная надежда.

- Тогда иди. Готовь своих людей. Выступаете завтра на рассвете. - Он помолчал. - И ещё. Я не могу дать тебе много людей. Армия отступает, каждый штык на счету. Но я дам тебе бумагу. С подписью и печатью. Если тебе понадобится помощь - в любом городе, у любого начальника - покажешь.

Он сел за стол, достал лист бумаги, перо, написал несколько строк, размашисто подписался, приложил печать. Воронцов взял бумагу - тонкую, пахнущую сургучом. «Податель сего, поручик Алексей Воронцов, действует по особому поручению...»

- Благодарю, ваше высокопревосходительство.

- Не благодари. - Беннигсен устало махнул рукой. - Просто сделай так, чтобы я не пожалел.

Воронцов встал, козырнул. Уже у двери генерал окликнул его:

- Воронцов!

- Я?

- Ты в Бога веришь?

Вопрос был неожиданный. Воронцов замялся. В училище он спорил о вере с товарищами, читал Вольтера и Руссо, посмеивался над попами. Но когда под Аустерлицем рядом упало ядро и убило его друга, он вдруг обнаружил, что шепчет слова молитвы, которых не помнил, но которые знало его тело. Мать научила. Давно, в детстве. Слова всплыли сами, из глубины, из крови.

- Верю, ваше высокопревосходительство. По-своему.

- Тогда молись. Потому что то, что ты собираешься сделать, - это не война. Это что-то другое. Что-то похуже.

Он отвернулся к окну. Разговор был окончен.

Воронцов вышел на улицу. Солнце уже припекало, и сирень, вчерашняя, ночная, теперь пахла приторно, почти тошнотворно. Он прошёл через площадь, мимо костёла, мимо толпы беженцев - люди шли на восток, с узлами, с детьми на руках, с телегами. Старуха в чёрном платке сидела на камне у дороги и качала на руках куклу - не ребёнка, куклу, тряпичную, с нарисованными глазами. Воронцов отвернулся. Ему вдруг стало страшно - не за себя, за них. За всех этих людей, которые ещё не знают, что их ждёт.

У лазарета его окликнули. Он обернулся. На крыльце стояла девушка - в простом сером платье, с белым передником, повязанная платком. Лет двадцати, не больше. Русые волосы выбивались из-под платка, на щеке - пятно крови, уже подсохшее, бурое. Усталая. Но глаза - ясные, серые, внимательные. Такие глаза не прячутся, не кокетничают. Они смотрят прямо и видят насквозь.

- Вы поручик Воронцов? - спросила она.

- Я.

- Меня зовут Настя. Анастасия Корф. Я сестра милосердия. - Она спустилась с крыльца, подошла ближе. - Мне сказали, вы были здесь ночью. С французом. Он умер.

- Знаю.

- Он что-то сказал вам? Что-то важное?

Воронцов посмотрел на неё. Прямая, честная, без кокетства. Такие не задают пустых вопросов. И такие не отступают, получив отказ.

- С чего вы взяли?

- Потому что вы не похожи на человека, который просто пришёл посмотреть на умирающего врага. - Она кивнула на его руку. - И потому что у вас под мундиром тетрадь. Я вижу. У вас мундир топорщится с левой стороны. И вы придерживаете его, когда идёте. Так придерживают то, что боятся потерять.

Воронцов невольно усмехнулся. Наблюдательная. И смелая - не каждая девушка решится вот так, в лоб, спросить офицера о военной тайне. В другое время он бы, может, и отругал её. Но сейчас - сейчас ему было не до правил.

- Это военная тайна, сударыня.

- Я понимаю. - Она помолчала. - Просто... если вам понадобится помощь. Я знаю Москву. Я там выросла. Знаю каждый переулок, каждый дом. И я знаю людей. Если вам нужно будет

найти кого-то в городе - я смогу помочь. У меня есть... - она замялась, - связи. В Москве. Среди тех, кто не любит французов.

- Вы предлагаете мне свои услуги?

- Я предлагаю помощь. - Она смотрела прямо. - Вы ведь едете в Москву, да? Рано или поздно. Все туда едут. Я слышала, как вы говорили с генералом. Я стояла за дверью. Простите. Но я должна была знать.

Воронцов молчал. Она была права. И это раздражало. Раздражало, что девчонка, сестра милосердия, видит больше, чем некоторые офицеры. И раздражало, что она ему нравилась. Вот так, сразу. Не лицом - лиц у него было много. Тем, как она держалась. Прямо. Без страха.

- Сударыня, - сказал он наконец. - Война - не женское дело.

- А милосердие - женское, - парировала она. - Или вы думаете, что раны заживают сами? Что дети перестают плакать без чужой помощи? Что люди не умирают в одиночестве? Я была здесь всю ночь. Я видела, как умирают. Это не война, поручик. Это ад. И если вы думаете, что в аду можно обойтись без женщин - вы ошибаетесь.

Она развернулась и ушла, не дожидаясь ответа. Воронцов смотрел ей вслед. Потом покачал головой.

- Настя, - пробормотал он. - Анастасия.

Он запомнил это имя. И не только имя - лицо, голос, то, как она стояла на крыльце, прямая, как свеча. И то, что она не побоялась. В этом городе, где все боялись, она не боялась. Или боялась, но не показывала. А это, наверное, одно и то же.

К вечеру он собрал своих людей. Их было трое - те, кому он доверял больше, чем себе.

Гаврила Сидоров, рядовой. Тридцать два года, бывший охотник из-под Смоленска. Медведь, а не человек: два метра росту, руки как лопаты, борода - как у лешего. Но глаза - добрые, как у ребёнка. Воронцов спас его под Вильно, когда Гаврила попал под обстрел - вытащил из-под огня, перевязал, выходил. С тех пор Гаврила ходил за ним, как тень. Говорил мало, но если говорил - по делу. И если бы понадобилось - отдал бы жизнь, не задумываясь. Воронцов знал это. И тяготился этим. Потому что не хотел, чтобы за него умирали.

- Гаврила, - сказал он. - Ты почему за мной ходишь? Я же тебе не барин.

Гаврила помолчал. Поскрёб бороду. Потом сказал:

- У меня дома жена, ваше благородие. И двое пацанов. Мал ещё один. Год ему. Я их не видел с весны. - Он помолчал. - Я когда под Вильно лежал - думал, всё. Не увижу. А вы меня вытащили. Не потому, что я вам нужен был. А потому, что не могли иначе. Я это видел. - Он посмотрел на Воронцова. - Так что я не за вас иду. Я за то, чтобы и другие так могли. Чтобы пацаны мои выросли там, где люди друг друга вытаскивают. А не бросают.

Воронцов ничего не сказал. Он не ожидал такого ответа. И не знал, что на него сказать.

Пётр Ильин, прапорщик. Девятнадцать лет. Только из училища. Худой, бледный, с длинными нервными пальцами. Писал стихи - плохие, но искренние. Воронцов взял его потому, что увидел, как Петя, единственный из всех, бросился вытаскивать раненого из-под огня, когда остальные залегли. Мальчишка был трусоват - руки тряслись, губы дрожали, - но с сердцем.

- Пётр, - сказал Воронцов. - Ты понимаешь, куда мы идём? Это не прогулка. Это может кончиться плохо.

Петя побледнел. Но не отступил.

- Понимаю, ваше благородие. - Он помолчал. - Я... я боюсь. Честно. Очень боюсь. Но я не хочу потом... чтобы было стыдно. Перед вами. Перед собой. - Он посмотрел на Воронцова. - Я стихи пишу. Плохие. Но там есть строчка: «И если страшно - значит, ты живой». Я её в училище написал. Тогда казалось - красиво. А теперь... теперь я знаю, что это правда. Страшно - значит, живой. А живой - значит, можешь идти. - Он выдохнул. - Я пойду.

Воронцов кивнул.

Степан Ковалёв, унтер-офицер. Сорок лет. Старый солдат, прошедший Итальянский поход, Альпы, Аустерлиц. Хмурый, неразговорчивый, с лицом, изрезанным шрамами. Он не верил в Бога, не верил в царя, не верил в приказы. Но он верил в Воронцова. Потому что Воронцов однажды вытащил его из-под картечи, когда Степан уже прощался с жизнью. С тех пор Степан считал себя обязанным. И ненавидел это. Но шёл. Каждый раз шёл.

- Степан, - сказал Воронцов. - Ты в Бога не веришь. В царя не веришь. Зачем идёшь?

Степан посмотрел на него. Долго. Потом сплюнул.

- А я, ваше благородие, вообще ни во что не верю. - Он помолчал. - Кроме одного. Я верю, что есть люди, которые лучше меня. И если они идут - я иду за ними. Не потому, что святой. А потому, что хочу быть рядом. Когда такие люди гибнут - мир становится хуже. А я не хочу, чтобы мир становился хуже. - Он усмехнулся. - Эгоизм, ваше благородие. Чистой воды эгоизм.

Воронцов усмехнулся в ответ.

- Ну что ж. Тогда слушайте.

Он рассказал им всё - про тетрадь, про план, про Москву, про предателя. Он говорил долго, стараясь ничего не упустить. Когда закончил, в сарае стало тихо. Только свеча потрескивала.

- Значит, так, - сказал он. - Я не приказываю. Я предлагаю. Кто со мной - шаг вперёд.

Все трое шагнули не сходя с места.

- Тогда слушайте. Выступаем завтра, на рассвете. Идём не как солдаты - как беженцы. Одежда гражданская, оружие - под полой. Документы я подготовлю. Легенда: я - московский купец, вы - мои работники. Едем в Москву по торговым делам. - Он помолчал. - И ещё. С нами пойдёт девушка. Сестра милосердия. Её зовут Настя. Она знает Москву. Она нам пригодится.

Степан хмыкнул:

- Баба на войне? Ваше благородие, не дело.

- Дело, Степан. Она не баба. Она сестра милосердия. И она умнее некоторых офицеров, которых я знаю. - Воронцов усмехнулся. - Включая меня.

Степан ничего не сказал, но было видно: недоволен. Впрочем, Степан всегда был недоволен. Это его не портило.

Петя вдруг оживился:

- А она красивая?

Воронцов посмотрел на него.

- Петя.

- Что? Я просто спросил.

- Спи. Завтра длинный день.

Ночью Воронцов не спал. Он сидел на крыльце, смотрел на звёзды и думал. О Москве. О Насте. О том, что ждёт впереди. Тетрадь лежала у него на коленях, тяжёлая, как камень.

Он открыл тетрадь на последней странице. Там, в самом конце, была приписка, сделанная другим почерком - торопливым, смазанным, словно человек писал в спешке, боясь, что не успеет. Он не заметил её днём - страница была загнута.

«Если вы читаете это - значит, я мёртв. Меня зовут Жан-Люк Ланн. Я инженер. Я не хотел этого. Но я выполнял приказ. Простите меня. И найдите его. Его имя - в конце. Последняя страница. Шифр: "Свобода или смерть". Ключ: Наполеон. Простите».

Воронцов перечитал трижды. Потом закрыл тетрадь и посмотрел на небо. Звёзды были яркие, крупные, июньские. Где-то там, на западе, горели костры французской армии - тысячи костров, растянувшихся на вёрсты. А здесь, в этом тихом дворе, пахло сиренью и пылью, и было так мирно, что казалось - война где-то далеко, в другом мире, в другой жизни.

- Жан-Люк, - сказал он тихо. - Ты не враг. Ты человек. Я найду его. Обещаю.

Он встал, перекрестился и пошёл спать. Завтра будет длинный день.

Глава 3. Дорога на Смоленск

27 июня 1812 года. Тракт Вильно - Смоленск. Полдень.

Они вышли на рассвете, когда над Вильно ещё висел туман - густой, молочный, пахнущий рекой и мокрой листвой, - а улицы были пусты. Воронцов шёл первым - в коричневом сюртуке, с дорожной сумкой через плечо, в картузе, надвинутом на лоб. Сюртук был куплен вчера на рынке у какого-то перекупщика - поношенный, с чужого плеча, с потёртыми локтями, но зато не мундир. Не военный. Купеческий. Гаврила - в сермяге, с топором за поясом. Петя - в потёртом сюртуке, с чернильницей и бумагами, которые он то и дело ронял. Степан - в армяке, с волчьим взглядом и ножом за голенищем. Настя - в сером платье и платке, с сумкой, где лежали бинты, склянки и маленький образок, завёрнутый в тряпицу.

Они шли пешком. Лошадей не было - всех забрали под обоз. Воронцов рассчитал: до Смоленска дней десять, если идти быстро. Потом - до Москвы ещё неделя. Успеют ли? Он не знал. Тетрадь говорила: связной прибудет в Москву не позднее двадцатых чисел августа. У них было меньше двух месяцев.

Дорога была забита. На восток шли беженцы - поляки, литовцы, русские. Телеги, узлы, дети, старики. Пыль стояла столбом, оседала на лицах, на одежде, на зубах - скрипела, горчила. Воронцов то и дело сплёвывал, но пыль возвращалась - она была везде, она была в воздухе, она была в лёгких. Казалось, что весь мир пропитался этой пылью - серой, тёплой, чужой.

Они шли молча. Каждый думал о своём. Гаврила - о доме, о жене, о детях. О том, как он вернётся, как обнимет их, как скажет: «Ну вот, я же говорил, что вернусь». Петя - о стихах, которые не успел дописать. Он всё время что-то бормотал себе под нос, шевелил губами, и пальцы его - длинные, нервные - дёргались, словно он держал невидимое перо. Степан - ни о чём. Степан давно научился не думать. Думать - это роскошь для тех, у кого есть дом. А у Степана дома не было. Была только война - и он умел только воевать. Настя - о матери и сестре, о том, живы ли они. Она смотрела на запад, откуда они шли, и глаза у неё были такие, будто она прощалась. С кем - с домом? С прошлым? С собой? Воронцов - о тетради. О цифрах. О том, что он ещё не расшифровал. О том, что где-то в Москве - уже сейчас, в эту минуту - сидит человек и ждёт. Ждёт сигнала. Ждёт, когда можно будет убить город.

К полудню они сделали привал в роще. Берёзы стояли тихие, белые, словно невесты. Пахло грибами и прелой листвой. Гаврила развёл костёр - маленький, чтобы не привлекать внимания, - Степан достал хлеб и сало. Хлеб был чёрствый, но вкусный - с тмином, домашний. Настя пекла его сама, в Вильно, перед уходом. Она тогда встала в четыре утра, замесила тесто, и когда они выходили, в доме ещё пахло печёным.

Петя сел в сторонку и начал что-то писать в блокнот. Пальцы у него были в чернилах - он вечно всё пачкал. Настя перевязывала старухе ногу - та стёрла её до крови, шла босиком, не чувствуя боли. Старуха была худая, как щепка, с лицом, изрезанным морщинами, и глазами, которые уже ничего не видели - белые, как у слепой. Она не стонала. Она просто сидела и смотрела в никуда, а Настя бинтовала ей ногу и говорила что-то тихое, ласковое.

Воронцов сидел на поваленном дереве - берёза, трухлявая, покрытая мхом - и перечитывал тетрадь. Он расшифровал уже половину. Картина становилась всё яснее - и всё страшнее. Французы планировали не просто взорвать Кремль. Они планировали взорвать его вместе с людьми - теми, кто останется в городе. А те, кто выживет, должны были умереть от отравленной воды.

- Что там? - спросила Настя, подходя. Она села рядом, вытерла руки о передник. На переднике были пятна - кровь, грязь, что-то ещё. - Опять что-то страшное?

- Всё страшное, - сказал Воронцов. - Чем дальше, тем страшнее.

- Расскажите.

Он посмотрел на неё. Прямая, спокойная. Не боится. Или боится, но не показывает.

- Зачем вам это?

- Потому что я тоже еду в Москву. И потому что я хочу знать, от чего мы бежим. Или к чему.

Воронцов помолчал. Потом сказал:

- Они хотят отравить воду. В семи колодцах. Мышьяк. Это... это смерть. Медленная, мучительная. И взорвать Кремль. Чтобы никто не смог восстановить.

Настя не побледнела. Не вскрикнула. Только губы сжались плотнее - так, что побелели.

- Когда?

- Связной будет в Москве к концу августа. Они ждут, когда армия войдёт в город. Тогда - взрыв. И вода - сразу.

- А мы?

- Мы должны успеть раньше.

Она кивнула. Помолчала. Потом спросила:

- Вы знаете, кто предатель?

- Нет. Пока нет. Но я найду.

- Как?

Воронцов усмехнулся. Усмешка вышла кривой, невесёлой.

- Пока не знаю. Но у меня есть тетрадь. И есть вы. Вы знаете Москву. Это уже что-то.

Настя улыбнулась - впервые за всё время. Улыбка у неё была хорошая: тёплая, чуть насмешливая. Как будто она знала что-то, чего не знал он. Или как будто она просто была рада, что он не отмахнулся.

- Ну, значит, не зря я вас нашла.

- Не зря, - согласился он.

Они сидели молча. Где-то в лесу пела птица - иволга, жёлтая, звонкая. Петя читал свои стихи Гавриле - тот слушал с открытым ртом, хотя ничего не понимал. Степан точил нож - мерно, ритмично, как дышит. Настя смотрела на огонь. Воронцов - на неё. На её руки - тонкие, в мозолях от бинтов. На её шею - с жилкой, которая билась ровно, спокойно. На её губы - сжатые, упрямые.

- Можно вопрос? - сказала Настя.

- Можно.

- Зачем вы это делаете? Ну, не приказ. Не долг. А... по-настоящему. Зачем?

Воронцов задумался. Честно задумался. Он не привык говорить о таком. Не привык объяснять. Но она смотрела на него - прямо, открыто - и он вдруг понял, что не может соврать.

- У меня был брат, - сказал он наконец. - Младший. Митя. Он умер три года назад. Лихорадка. Ему было шестнадцать. Он хотел быть военным. Как я. Он читал книги про Суворова, про Кутузова. Он говорил: «Лёша, я тоже буду защищать Россию». А потом... - Воронцов замолчал. - Потом он умер. И я подумал: если я не сделаю это - за него, за себя, за всех - то кто сделает? Кто-то же должен. Вот я и делаю.

Настя ничего не сказала. Просто взяла его руку и сжала. Крепко. На секунду. Потом отпустила.

- Мой отец, - сказала она тихо, - был врачом. Он умер, когда мне было четырнадцать. Холера. Он лечил людей до последнего. Я тогда поклялась: если выживу - стану такой же. - Она посмотрела на него. - Мы с вами похожи, поручик. Оба делаем то, что должны. Только по разным причинам.

- И по разным дорогам, - сказал он.

- Пока - по одной, - ответила она.

К вечеру они дошли до местечка под названием Ошмяны. Здесь стоял русский гарнизон - небольшой, измученный, но ещё державшийся. Солдаты были худые, оборванные, с впалыми щеками. Они смотрели на проходящих беженцев равнодушно - как смотрят люди, которые уже видели слишком много, чтобы чему-то удивляться.

Воронцов нашёл коменданта - майора с перевязанной рукой. Рука была в грязной тряпке, сквозь которую проступала кровь. Майор сидел в избе, за столом, перед ним стояла бутылка водки - почти пустая - и огурец на тарелке.

- Купцы? - майор посмотрел на них с подозрением. - В Москву? Сейчас?

- По торговым делам, ваше высокоблагородие, - сказал Воронцов, старательно окая, как смоленский мещанин.

Майор хмыкнул. Посмотрел на Гаврилу - на его медвежьи руки и добрые глаза. На Петю - на его нервные пальцы и чернильное пятно на сюртуке. На Степана - на его шрамы и волчий взгляд. На Настю - на её серое платье и усталую улыбку.

- Ну-ну, - сказал он. - Только учтите: французские разъезды уже под Сморгонью. Обходите лесами. И не светитесь.

- Спасибо, ваше высокоблагородие. - Воронцов козырнул. - А что с армией? Где наши?

- Отступают. - Майор помрачнел. - Барклай отводит войска. Куда - не говорят. Но, говорят, к Смоленску. Может, там дадим бой. Может, нет. - Он посмотрел на Воронцова. - А вы, купцы, зря в Москву едете. Там сейчас... неспокойно.

- Что значит «неспокойно»?

- Говорят, французские лазутчики уже там. Кто-то из своих, из дворян, помогает. - Майор понизил голос до шёпота. - Говорят, готовят что-то. Что - не знаю. Но чует моё сердце: не просто так они там.

Воронцов переглянулся с Настей. Она едва заметно кивнула.

- Спасибо, ваше высокоблагородие. Мы учтём.

Ночью они остановились в лесу. Костёр не разжигали - майор сказал, что французские разъезды близко. Ели хлеб, пили воду из фляг. Петя заснул первым - прямо на земле, свернувшись калачиком, как ребёнок. Гаврила сидел рядом, охранял, прислушивался к каждому шороху. Степан ушёл в разведку - вернулся через час, молча сел у дерева, сказал: «Тихо. Вроде никого».

Воронцов сидел у дерева и смотрел на тетрадь. Он расшифровал ещё три страницы. Там было про связного: «...прибудет в Москву под видом итальянского торговца шелком. Имя: синьор Карло. Остановится в гостинице "Мадрид" на Тверской. Пароль: "Свобода или смерть". Отзыв: "Смерть тиранам". С ним будет карта подземелий...»

Он поднял голову. Настя сидела рядом, смотрела на огонь - маленький, почти невидимый. В его свете её лицо казалось моложе, чем днём. И грустнее.

- Что-то не так? - спросил он.

- Всё не так, - сказала она. - Мы идём в Москву, чтобы спасти город. А я даже не знаю, жив ли мой дом. Моя мать. Сестра.

- У вас есть сестра?

- Младшая. Лиза. Ей пятнадцать. Она... она особенная. Тихая. Не такая, как я. - Настя помолчала. - Я отправила ей письмо, когда уходила. Но не знаю, дошло ли.

Воронцов ничего не сказал. Он не умел утешать. Никогда не умел.

- Мы найдём их, - сказал он наконец. - Когда придём в Москву. Найдём.

Настя посмотрела на него. Долго. Потом улыбнулась - той же тёплой, насмешливой улыбкой.

- Вы хороший человек, поручик. Только сами этого не знаете.

- Плохой, - сказал он. - Просто стараюсь быть лучше.

- Все стараются, - ответила она. - Не все получается.

Она встала, подошла к Пете, укрыла его своим платком. Потом вернулась, села рядом с Воронцовым. Ближе, чем раньше.

- Спите, - сказала она. - Я посторожу.

- Вы тоже должны спать.

- Я привыкла не спать. - Она улыбнулась. - В лазарете было не до сна.

Воронцов хотел возразить, но глаза уже слипались. Он прислонился к дереву, закрыл глаза. Последнее, что он почувствовал, - её рука на его плече. Тёплая. Живая.

Утром они двинулись дальше. Шли лесами, обходили деревни. Дорога была тяжёлой: жара, комары, усталость. Петя стёр ноги, но не жаловался - только губы кусал. Гаврила нёс его сумку - молча, без просьбы. Степан шёл впереди, как волк, - нюхал воздух, слушал. Настя шла рядом с Воронцовым, иногда брала его под руку - когда уставала. Он не отстранялся.

На третий день они наткнулись на французский разъезд. Пять всадников - драгуны, в синих мундирах, с пиками. Они ехали по дороге, не замечая их. Воронцов замер. Все замерли. Петя побледнел так, что стал почти прозрачным. Гаврила схватился за топор. Степан вытащил нож.

- Тихо, - прошептал Воронцов. - Не двигаться.

Драгуны проехали мимо. Близко. Так близко, что Воронцов слышал, как они переговариваются. По-французски. О чём-то обыденном - про вино, про женщин. Один из них смеялся - громко, молодо, беззаботно. Как будто не было войны. Как будто они просто ехали по дороге, и всё было хорошо.

Один из драгун вдруг остановился. Повернул голову. Воронцов затаил дыхание. Драгун смотрел прямо на кусты, где они прятались. Секунду. Две. Потом spat - плюнул - и поехал дальше.

Когда они скрылись, Петя выдохнул:

- Господи...

- Тише, - сказал Степан. - Ещё не ушли.

Они просидели в кустах ещё час. Потом двинулись дальше.

К концу недели они дошли до Смоленска. Город был переполнен: войска, беженцы, обозы. Воронцов нашёл штаб - в доме на главной улице. Здесь было не протолкнуться: офицеры, адъютанты, курьеры. Он протолкался к дежурному.

- Поручик Воронцов. С донесением от генерала Беннигсена. К главнокомандующему.

Дежурный - молодой, усталый, с чернильным пятном на щеке - посмотрел на его бумаги. Потом на него. Потом снова на бумаги.

- Ждите, - сказал он. - Главнокомандующий занят.

Воронцов ждал три часа. Наконец его вызвали.

Главнокомандующий - Барклай-де-Толли - сидел за столом, заваленным картами. Лицо у него было каменное, глаза - усталые. Он посмотрел на Воронцова, взял бумаги. Читал долго.

- Это правда? - спросил он наконец.

- Так точно, ваше высокопревосходительство.

- И вы думаете, что успеете?

- Надеюсь.

Барклай помолчал. Потом сказал:

- Я не могу дать вам людей. У меня их нет. Но я дам вам пропуск. И рекомендательное письмо к московскому генерал-губернатору - графу Ростопчину. Он вам поможет.

Воронцов взял бумаги. Поклонился.

- Ваше высокопревосходительство... Разрешите вопрос?

- Разрешаю.

- Что будет дальше? С Москвой?

Барклай посмотрел на него. Долго. Потом сказал:

- Я не знаю. Но я знаю одно: если мы не остановим их под Смоленском - они пойдут дальше. И тогда... - Он не договорил. - Идите, поручик. У вас мало времени.

Воронцов вышел. На улице было шумно, пыльно, тревожно.

Он нашёл своих у городской стены. Настя перевязывала какого-то солдата - молодого, с разорванным плечом. Гаврила помогал ей. Петя писал - быстро, нервно. Степан стоял на страже.

- Ну что? - спросила Настя, подходя.

- Идём дальше, - сказал Воронцов. - До Москвы - неделя. Может, меньше. Надо торопиться.

Она кивнула.

- Тогда не будем терять времени.

Они двинулись дальше - на восток. Навстречу неизвестности.

Глава 4. Смоленск в огне

5 августа 1812 года. Смоленск. Четыре часа пополудни.

Они не успели уйти.

Утром следующего дня, когда Воронцов уже нашёл подводу до Дорогобужа и договорился с возчиком - кривым мужиком с перевязанной рукой, который запросил втридорога и всё равно согласился, потому что деньги были нужны позарез, - над городом повис тяжёлый, утробный гул. Сначала он подумал - гром. Но небо было ясное, безоблачное, выцветшее от жары до белизны. А гул не прекращался. Он нарастал, катился с запада, тяжёлый, как обвал.

- Пушки, - сказал Степан, поднимаясь с земли. Он точил нож, сидя на корточках у стены, - и теперь замер, прислушиваясь, с ножом в руке. - Ваше благородие, это пушки. Не гром. Пушки.

Воронцов выбежал на улицу. Люди бежали в разные стороны. Женщина с ребёнком на руках упала на колени и начала молиться - быстро, судорожно, крестясь и кланяясь в землю. Старик в армяке тащил телегу с узлами, но колесо сломалось, и он стоял над ней, беспомощно озираясь. Мальчишка лет десяти бежал по улице и кричал что-то бессвязное - не то «французы», не то «пожар», не то просто кричал, потому что кричать было легче, чем молчать.

С запада поднимались клубы пыли - густые, жёлтые, тяжёлые. И в этой пыли - блеск стали, движение, тёмные массы. Французы шли не таясь. Они шли как хозяева.

- Французы, - сказал Воронцов, и голос у него сел. - Они уже здесь.

Он вернулся в дом, где они остановились - в маленькую избу на окраине, с земляным полом и прокопчённой печью. Настя уже собирала сумку - быстро, привычно, как будто делала это всю жизнь. Петя стоял бледный, с трясущимися руками. Гаврила молча точил топор. Степан проверял нож.

- Слушайте меня, - сказал Воронцов. - Город будут защищать. Но французы идут с ходу, их много. Нам не удержать. Мы не можем здесь оставаться. Нам нужно уходить. Сейчас.

- А люди? - спросила Настя. - Что будет с ними?

Воронцов посмотрел на неё. Он знал, что она скажет. И ненавидел себя за то, что не может приказать ей иначе.

- Настя...

- Я не могу уйти, - сказала она твёрдо. - Там раненые. Там дети. Я сестра милосердия. Если я уйду - кто им поможет?

- Ты погибнешь.

- Может быть. - Она смотрела прямо. - Но если я уйду - я не смогу себе этого простить. Вы понимаете?

Он понимал. Как никто.

- Хорошо, - сказал он. - Но ты не одна. Гаврила, останешься с ней.

- Ваше благородие...

- Это приказ, Гаврила. Настя - под твою защиту. Понял?

- Понял, - глухо сказал Гаврила.

- Петя, Степан - со мной. Мы идём к стенам. Поможем, чем сможем. Потом - уходим. Все вместе. - Он посмотрел на Настю. - Через два часа встречаемся у восточных ворот. Если не придём - уходите без нас.

- Я не уйду без вас, - сказала она.

- Уйдёте. Это приказ.

Она ничего не ответила. Только сжала его руку - крепко, до боли. Потом отвернулась и побежала к лазарету. Гаврила двинулся за ней - огромный, молчаливый, как тень.

Смоленск горел.

Воронцов и его люди добрались до стены, когда французы уже пошли на приступ. Корпус Нея - тяжёлая пехота, колоннами, с барабанами. Барабаны били ровно, гулко, не переставая, и от этого звука хотелось заткнуть уши и закричать. Русские стреляли со стен, но их было мало. Слишком мало.

Воронцов нашёл капитана - молодого, с перевязанной головой. Бинт был грязный, пропитался кровью и засох. Капитан стоял у бойницы, смотрел вниз, на французов, и лицо у него было такое, будто он уже всё понял. Всё, что нужно было понять.

- Где генерал? - спросил Воронцов.

- Убит, - сказал капитан. - Полчаса назад. Ядром. Даже не собрали.

- Кто командует?

- Никто. Мы держимся, как можем.

Воронцов оглянулся. Вокруг были солдаты - молодые, испуганные, но не бегущие. Один мальчишка, лет семнадцати, с разбитым лицом - кровь запеклась на губе, на подбородке, - держал в руках кирпич и смотрел на запад так, словно этот кирпич мог остановить армию.

- Степан! - крикнул Воронцов. - Бери десяток, за мной. Петя - найди патроны. Сколько есть. Тащи сюда.

Он бросился к стене. Пули свистели вокруг. Где-то рядом упал солдат - молодой, лет восемнадцати, с дыркой во лбу. Воронцов даже не успел разглядеть его лицо. Просто перешагнул и побежал дальше.

Он нашёл брешь в стене - французы уже лезли через неё. Степан с десятком солдат ударил сбоку. Воронцов - прямо. Штыки, крики, кровь. Он не помнил, как дрался. Помнил только, что рядом был Степан, что кто-то падал, что кто-то кричал. И что французы отступили. На время. Ненадолго.

К вечеру город был в огне. Воронцов нашёл Петю - тот сидел у стены, весь в саже, с пустыми глазами. В руках у него был разряженный пистолет. На руках - кровь. Не своя.

- Живой?

- Живой, - прошептал Петя. - Я... я убил человека. Впервые. - Он посмотрел на свои руки. - Он был молодой. Такой же, как я. Он упал, а я... я даже не почувствовал ничего. Просто выстрелил. И он упал.

- Сколько тебе лет?

- Девятнадцать.

- В девятнадцать все убивают впервые, - сказал Воронцов. - Это не делает тебя убийцей. Это делает тебя солдатом.

Петя посмотрел на него. В глазах - слёзы. Но и что-то ещё. Что-то твёрдое.

- Я не подведу, - сказал он. - Я не подведу.

- Знаю, - сказал Воронцов.

Они нашли Гаврилу и Настю у восточных ворот. Настя была вся в крови - чужой, засохшей. Руки у неё дрожали, но не от страха - от усталости. Гаврила нёс на плече раненого - молодого офицера без сознания.

- Живы?

- Живы, - сказала Настя. - Но не все. - Она посмотрела на него. - Дмитрий... поручик Савельев... Он был с нами. Он...

Воронцов замер. Внутри что-то оборвалось.

- Где он?

- Там. - Она показала рукой. - У лазарета. Он... он прикрыл нас. Когда начался обстрел. Он...

Воронцов побежал.

Он нашёл Дмитрия у стены лазарета. Тот лежал на спине, глядя в небо. Грудь у него была разорвана осколком. Кровь уже не шла - просто тёмное пятно на мундире. Он был мёртв. Но глаза открыты.

Воронцов опустился на колени. Дмитрий был его другом. Не просто другом - братом. Они вместе учились в кадетском корпусе, вместе тянули лямку, вместе мечтали о славе. Дмитрий был весёлым, добрым, любил женщин и вино, любил пошутить, любил петь. И всегда говорил: «Лёша, мы с тобой ещё повоюем. Мы ещё покажем этим французам». Он говорил это вчера. За завтраком. С набитым ртом.

- Митя, - сказал Воронцов. - Митя...

Он взял его за руку. Рука была уже холодной. На ладони - медальон. Маленький, серебряный, с портретом женщины. Мать Дмитрия. Он всегда носил его с собой, всегда говорил, что это его талисман.

Воронцов взял медальон. Сжал в кулаке. Металл был холодным, края впились в ладонь.

- Я отдам, - сказал он. - Клянусь. Я найду её. И отдам.

Он закрыл Дмитрию глаза. Потом встал. Внутри было пусто. Не боль - пустота. Он знал, что потом будет боль. Обязательно будет. Но сейчас - пустота. И это было хуже боли.

Они вышли из Смоленска через восточные ворота, когда город уже пылал. За их спинами рушились дома, кричали люди, гремели пушки. Впереди была дорога - на восток, в Москву. Воронцов шёл молча. Настя шла рядом - не касаясь, но близко. Гаврила нёс раненого. Петя тащил сумку с патронами. Степан замыкал - шёл спиной вперёд, смотрел на запад, на огонь.

- Он был хороший, - сказала Настя тихо. - Дмитрий.

- Лучший, - сказал Воронцов.

- Вы его любили.

- Как брата.

Она помолчала. Потом сказала:

- У меня тоже был брат. Он умер в прошлом году. Тиф. Ему было двадцать. Он тоже хотел быть военным. Но не успел.

Воронцов посмотрел на неё. Впервые за весь день он почувствовал что-то, кроме пустоты.

- Мы все теряем, - сказал он. - Но мы идём дальше. Потому что если остановимся - потеряем всё.

Она кивнула.

Они шли всю ночь. Смоленск горел за спиной - зарево было видно вёрст на двадцать. Воронцов шёл вперёд.

Глава 5. Письмо, которого не ждали

8 августа 1812 года. Лагерь у Дорогобужа. Вечер.

Три дня они шли на восток, обходя дороги, ночуя в лесах. Смоленск остался позади - горящий, рушащийся, но не сдавшийся. Говорили, что Наполеон въехал в город верхом, но даже не улыбнулся. Говорили, что он сказал своим маршалам: «Мы взяли не город, а могилу». Воронцов не знал, правда ли это. Но хотел верить.

Лагерь у Дорогобужа был переполнен. Здесь собрались остатки разбитых полков, беженцы, раненые. Палатки стояли вплотную друг к другу, дым от костров стлался низко, не поднимаясь, - воздух был тяжёлый, сырой. Пахло гарью, лошадьми и мокрой землёй - ночью прошёл дождь, и земля не успела просохнуть. Сапоги вязли в грязи, и каждый шаг отдавался чавканьем.

Воронцов нашёл место у костра - на краю лагеря, под старой берёзой. Кора у берёзы была ободрана - кто-то сдирал её на растопку. Впервые за три дня он мог просто посидеть. Не идти. Не нести. Не думать о том, что сзади - французы, а впереди - неизвестность. Просто сидеть и смотреть на огонь.

Настя ушла к раненым - снова. Гаврила пошёл искать еду - в лагере говорили, что где-то раздают сухари, но очереди были такие, что не дождёшься. Петя заснул там же, где сел, - прислонился к берёзе, уронил голову на грудь и засопел. Степан ушёл в разведку - вернулся через час, сказал: «Тихо. Французы далеко. Пока».

Воронцов остался один. Он достал из-за пазухи медальон Дмитрия, открыл его. На портрете - женщина лет пятидесяти, с добрыми глазами и мягкой улыбкой. Мать Дмитрия. Она живёт в Москве, на Пресне, в маленьком доме с садом. Ждёт сына. Каждый день ходит в церковь и молится. «Она у меня святая, Лёша. Я такой никогда не буду». Воронцов тогда смеялся: «Ты и не пытайся. Ты просто будь». А Дмитрий отвечал: «Я и стараюсь. Для неё».

Теперь она будет ждать напрасно.

- Поручик Воронцов?

Он поднял голову. Перед ним стоял солдат - молодой, веснушчатый, с сумкой через плечо. Курьер. На сумке был номер полка, написанный выцветшей краской.

- Я.

- Вам письмо. - Солдат протянул сложенный лист, перевязанный верёвочкой. - Из имения. Пришло ещё в Вильно, но вас уже не было. Передавали по цепочке. Еле нашли.

Воронцов взял письмо. Руки не слушались. Он узнал почерк - крупный, с наклоном, с завитушками. Мать. Она всегда писала так - старательно, выводя каждую букву, словно боялась, что её не поймут.

Он открыл. Бумага была тонкой, серой, с пятнами. Буквы расплывались. Но он читал.

«Алешенька, сынок.

Пишу тебе, потому что не знаю, дойдут ли до тебя эти строки. Отец болен. Очень болен. Лекарь говорит: чахотка. Он кашляет кровью, почти не встаёт. Каждый день спрашивает про тебя. Я говорю: жив, служит, защищает нас. Он кивает и улыбается. Но я вижу - он ждёт. Он хочет увидеть тебя. Хоть раз. Перед тем как...

Имение наше разорено. Крестьяне ушли кто куда. Земля не родит. Денег нет. Я продала серебро, продала лошадей. Осталась одна корова и куры. Но это ничего, сынок. Это ничего. Главное - ты жив.

Я знаю, что ты служишь. Я знаю, что ты не можешь приехать. Я знаю, что ты нужен там, где ты есть. Но, Алешенька, если ты можешь - приезжай. Хоть на день. Хоть на час. Отец ждёт.

Прости меня за это письмо. Я не должна была писать. Я знаю, что ты воин. Что у тебя долг. Что ты не можешь бросить всё. Но я мать. А матери всегда эгоистки, когда дело касается детей.

Храни тебя Бог. Целую тебя. Твоя мама».

Воронцов дочитал до конца. Потом перечитал снова. Потом сложил письмо и убрал за пазуху, к медальону Дмитрия. Две вещи. Два напоминания. Два долга.

Он сидел и смотрел на огонь. Внутри было так, будто его разорвали на две части. Одна часть - там, в имении, где умирает отец. Где мать продаёт серебро и лошадей, чтобы выжить. Другая - здесь, где Москва ждёт своей смерти. Где тетрадь с шифром лежит у него за пазухой.

Где Настя перевязывает раненых. Где Петя спит, уронив голову на грудь. Где все они пошли за ним, потому что поверили.

Он не мог быть в двух местах. Он должен был выбрать.

Он думал о Дмитрии. О том, как тот умирал - один, на камнях, под чужим небом. О том, как его мать будет ждать его - и не дождётся. О том, что если он, Воронцов, поедет домой - кто-то другой умрёт. Или не умрёт. Он не знал.

Он думал о Насте. О том, как она сказала: «Служба - это не только приказ. Это выбор». О том, что она выбрала - остаться с ранеными, зная, что может погибнуть. О том, что она не колебалась. Ни секунды.

Он думал о Пете. О мальчишке, который боится, но идёт. О Гавриле, который молчит, но прикрывает. О Степане, который не верит ни во что, но идёт за ним. О всех, кто пошёл за ним, потому что поверил. Потому что он, Воронцов, сказал: «Надо». И они пошли. Не потому, что он был умнее или сильнее. А потому, что он был первым. А первый - это всегда ответственность.

Он думал о Москве. О тысячах людей, которые не знают, что их ждёт. О детях, которые пьют воду из колодцев. О женщинах, которые молятся в церквях. О стариках, которые не могут уйти. О матерях Дмитрия, которые ждут сыновей. О матерях, которые не дождутся.

Он думал о себе. О том, кем он будет, если поедет домой. И кем - если останется.

Он встал. Подошёл к костру. Бросил письмо в огонь. Смотрел, как бумага чернеет, скручивается, исчезает. Как буквы - крупные, с завитушками - вспыхивают и гаснут. Как его имя, написанное рукой матери, превращается в пепел.

Он не поедет домой. Он знал это ещё до того, как бросил письмо в огонь. Но теперь - знал окончательно. И от этого знания было не легче. Только тише.

Настя пришла через час. Села рядом, усталая, с красными глазами. От неё пахло карболкой и чужой кровью.

- Что-то случилось? - спросила она.

- Нет, - сказал он. - Ничего.

Она посмотрела на него. Долго. Потом сказала:

- Вы врёте.

- Вру, - согласился он.

Она не стала расспрашивать. Просто взяла его за руку. И держала. Молча. Её ладонь была тёплой, чуть шершавой - от бинтов, от воды, от работы. Он не отнял руку.

- Я не поеду домой, - сказал он наконец. - Отец умирает. Но я не поеду.

- Почему?

- Потому что если я поеду - я предам. Всех. Тех, кто ждёт меня в Москве. Тех, кто пошёл за мной. Тебя.

Она сжала его руку крепче.

- Вы не предадите, - сказала она. - Вы просто человек. И вы выбираете. Как все мы.

- А если я выберу неправильно?

- Тогда вы будете жить с этим. Как все мы.

Он посмотрел на неё. В свете костра её лицо казалось совсем юным. И в то же время - старым. Как у всех, кто видел слишком много.

- Настя, - сказал он. - Спасибо.

- За что?

- За то, что вы есть.

Она улыбнулась.

- Спите, поручик. Завтра будет новый день. И новые выборы.

Он прислонился к дереву. Закрыл глаза. И впервые за много дней - заснул. Без снов.

Утром он собрал своих.

- Идём в Москву, - сказал он. - Быстро. Без остановок. Мы должны успеть до французов.

- А если не успеем? - спросил Петя.

- Тогда мы сделаем всё, чтобы они не успели сделать то, что задумали. - Воронцов посмотрел на каждого. - Я не обещаю, что мы выживем. Я не обещаю, что нас поблагодарят. Я обещаю только одно: мы сделаем то, что должны. Потому что если не мы - то никто.

Гаврила кивнул.

- С вами, ваше благородие.

Петя кивнул.

- С вами.

Степан кивнул.

- Пошли.

Настя ничего не сказала. Просто встала рядом.

Глава 6. Расшифровка

10 августа 1812 года. Дорога между Вязьмой и Гжатском. Ночь.

Они шли уже два дня, почти без отдыха. Воронцов гнал их вперёд. Он знал: каждая остановка - это потерянный час. А часов оставалось всё меньше. Тетрадь говорила: связной будет в Москве к концу августа. Август уже перевалил на вторую половину.

Дорога шла через выжженные поля. Кое-где торчали обгорелые столбы - то ли от изб, то ли от межевых знаков. Ветер гнал по земле пепел и сухую траву. Солнце палило нещадно, и от зноя воздух над дорогой дрожал, как студень. Комары вились тучами - их было столько, что приходилось отмахиваться обеими руками. Петя стёр ноги в кровь, но не жаловался - только губы кусал да иногда тихо шипел сквозь зубы, когда думал, что никто не слышит. Гаврила нёс его сумку - молча, без просьбы. Степан шёл впереди - как волк, нюхал воздух, слушал. Настя шла рядом с Воронцовым, иногда брала его под руку - когда уставала. Он не отстранялся.

К вечеру они свернули в лес. Нашли овраг - глубокий, с крутыми склонами, защищённый от ветра. Развели маленький костёр. Гаврила выставил караул - сам сел у входа в овраг, с топором на коленях. Петя рухнул на землю и заснул мгновенно. Степан ушёл проверять окрестности. Настя достала хлеб и начала резать его на куски - медленно, аккуратно, чтобы не крошить.

Воронцов сел у огня, достал тетрадь и перо. Осталась последняя часть - та, которую он откладывал. Он расшифровывал страницу за страницей, и с каждым часом картина становилась всё яснее. Слишком ясной. И слишком страшной.

«...Итак, план в деталях. Инженерная команда - двенадцать человек - войдёт в подземелья через тайный ход у Москворецкого моста. Заряды заложены в трёх точках: под Успенским собором, под Грановитой палатой и под Тайницкой башней. Взрыв должен произойти одновременно, по сигналу. Сигнал - три пушечных выстрела с Поклонной горы. Время - полночь. Когда французская армия начнёт отход из Москвы...»

Воронцов перевёл дыхание. Потом продолжил.

«...Вода. Семь колодцев. Каждый будет отравлен отдельной командой. Агенты - из числа местных жителей, завербованных связным. Они не знают, что отравляют воду - им сказано, что это дезинфекция от французской заразы. Мышьяк в порошке. Дозировка: один фунт на колодец. Смерть наступает в течение суток. Симптомы - как при холере. Никто не поймёт, что это отравление...»

Он отложил перо. Руки дрожали. Он сжал кулаки, чтобы остановить дрожь. Не помогло.

- Что там? - спросила Настя, подходя с хлебом. Она села рядом, протянула ему кусок. Хлеб был чёрствый, но пах тмином.

Он рассказал ей. Про подземелья, про заряды, про колодцы, про агентов. Она слушала молча. Лицо у неё было спокойное, но глаза - нет. Глаза были тёмные, как вода в омуте.

- Значит, они хотят убить не только солдат, - сказала она. - Они хотят убить всех.

- Да.

- И мы должны это остановить.

- Да.

Она помолчала. Потом спросила:

- А предатель? Ты нашёл его имя?

Воронцов покачал головой.

- Нет. Последняя страница зашифрована отдельно. Ключ - «Наполеон». Но я пока не могу его взломать. Там что-то другое. Не цифры. Что-то... личное.

- Личное?

- Там написано: «Его имя - в конце. Но чтобы понять - нужно вспомнить». И всё. Дальше - шифр. Я не могу его разгадать.

Настя села рядом, поближе к огню.

- Можно посмотреть?

Он протянул ей тетрадь. Она взяла, открыла на последней странице. Долго смотрела на ряды цифр и букв. Потом сказала:

- «Вспомнить». Что можно вспомнить? Прошлое? Кого-то? Что-то?

- Не знаю.

Она вернула тетрадь.

- Мы найдём его. В Москве. Найдём.

- Как?

- У нас есть ты. У нас есть тетрадь. И у нас есть время. Немного, но есть.

Воронцов посмотрел на неё. Она была спокойна. Как всегда. Это успокаивало. И удивляло.

- Настя, - сказал он. - Я хочу тебе кое-что сказать. На случай, если...

- Не надо, - перебила она. - Не надо «на случай». Мы дойдём. Мы всё сделаем. И потом... потом ты мне скажешь то, что хочешь сказать. Не сейчас.

Он замолчал. Потом кивнул.

- Хорошо.

Она улыбнулась.

- Ешь. Завтра будет трудный день.

Он взял хлеб. Откусил. Хлеб был чёрствый, но вкусный - с тмином, домашний. Настя пекла его сама, в Вильно, перед уходом.

Утром они продолжили путь. Дорога шла через поля, выжженные солнцем. Кое-где виднелись брошенные деревни. В одной избе Воронцов увидел на столе горшок с кашей - уже засохшей. И куклу на лавке - тряпичную, с нарисованными глазами. Он отвернулся.

К полудню они увидели первых французов. Не разъезд - обоз. Телеги, лошади, солдаты. Они шли на восток, к Москве. Воронцов и его группа залегли в кустах, пропуская их. Обоз шёл долго - телег двадцать, не меньше. Солдаты шли лениво, расстегнув мундиры, некоторые пели. Они не боялись.

- Много, - прошептал Петя.

- Это только обоз, - сказал Степан. - Основная армия впереди.

Они пропустили обоз. Потом ещё один. Потом ещё.

К вечеру они дошли до Гжатска. Город был сожжён. На месте домов - пепелища. На улицах - трупы. Люди, лошади, собаки. Воронцов остановился. Настя отвернулась. Петя побледнел. Гаврила перекрестился. Степан сплюнул.

- Кто это сделал? - спросил Петя.

- Французы, - сказал Степан. - Или наши. Когда отступали. Всё равно.

Воронцов ничего не сказал. Он просто пошёл дальше. Через город. Через смерть. Он шёл и считал шаги - чтобы не думать. Раз, два, три, четыре. Это помогало. Немного. Но помогало.

Ночью они остановились в лесу. Воронцов снова достал тетрадь. Он расшифровывал последнюю страницу - ту, что с ключом «Наполеон». Он сидел над ней уже третий час.

«Вспомнить», - сказал он себе. - Что можно вспомнить?

Он думал о Наполеоне. О его жизни. О его пути. О его победах. О его ошибках.

Он вспомнил: Наполеон родился на Корсике. В 1769 году. Его отец был адвокатом. Он учился в военной школе. Он был маленьким, нелюдимым, но упрямым. Его дразнили. Он не обижался. Он просто ждал.

Он вспомнил: Наполеон любил историю. Особенно - историю Рима. Он читал про Цезаря, про Александра Македонского. Он мечтал быть как они.

Он вспомнил: Наполеон женился на Жозефине. Потом развёлся. Потом женился на Марии-Луизе. У него был сын. Он любил сына.

Он вспомнил: Наполеон говорил: «Я - не человек. Я - события». Он не боялся смерти. Он боялся забвения.

«Вспомнить», - снова подумал Воронцов. - Что можно вспомнить?

И вдруг его осенило. Наполеон - это не просто имя. Это - символ. Символ власти. Символ силы. Символ того, что можно всё. Или - символ того, что всё заканчивается. Он вспомнил что-то. И это что-то - имя.

Он начал писать. Цифры, буквы, слова. Он не знал, что делает. Просто писал. Рука двигалась сама. Он вспоминал даты. Взятие Бастилии - 1789. Коронация Наполеона - 1804. Битва под Аустерлицем - 1805. Тильзитский мир - 1807. Он записывал годы. Потом брал первые буквы событий. Потом складывал. Потом читал.

И через час - понял.

- Настя, - сказал он. - Настя, иди сюда.

Она подошла. Села рядом.

- Что?

- Я понял. - Он показал ей лист. - Смотри. Шифр - это не просто цифры. Это - даты. Годы. Взятие Бастилии. Коронация Наполеона. Каждая дата - это буква. Первая буква события.

Он показал ей расшифровку. Кривую, с помарками. Но читаемую.

- Вот. Читай.

Она прочитала. Медленно, шевеля губами. Потом подняла на него глаза.

- «Тучков», - сказала она. - Павел Тучков.

- Да. - Воронцов смотрел на лист. - Павел Тучков. Дворянин. Известный в Москве. Я его... я его видел. В Вильно. Он был там. Говорил, что по делам. Я не придал значения. - Он сжал кулак. - Дурак. Я должен был понять.

- Ты не мог знать, - сказала Настя. - Никто не мог.

- Мог. - Он покачал головой. - Я его видел. Он стоял у штаба. Смотрел на карту. Я подумал: любопытный. А он... он запоминал.

- Ты думаешь, это он?

- Думаю, да. - Воронцов сжал кулак. - Он - связной. Он - предатель. И он будет в Москве. К концу августа.

Настя помолчала.

- Что мы будем делать?

- Мы найдём его. И остановим. - Воронцов посмотрел на неё. - Но сначала - мы найдём тайник. И обезвредим заряды. Потом - вода. Потом - он.

- Это много.

- Знаю. Но мы справимся.

Она кивнула.

- Справимся.

Утром они двинулись дальше. На Москву.

Глава 7. Бородино. Утро

26 августа 1812 года. Бородинское поле. Пять часов утра.

До Москвы оставалось сто двадцать вёрст, когда их нагнал гонец.

Воронцов не спал всю ночь - расшифровывал последние страницы тетради, вычерчивал на карте подземелья, отмечал колодцы. К рассвету голова гудела, но дело было сделано. Он сложил карту, убрал тетрадь за пазуху и вышел из шалаша. Над лесом поднималось солнце. Где-то далеко, на западе, глухо ухала земля. Потом понял: пушки.

Гонец появился из тумана - молодой корнет на взмыленной лошади. Лошадь была вся в мыле, бока ходили ходуном, и корнет, спешившись, сразу схватился за повод, чтобы она не упала.

- Поручик Воронцов?

- Я.

- Приказ главнокомандующего. Всем офицерам - немедленно в расположение. Французы идут. Завтра - генеральное сражение.

Воронцов замер. Завтра.

- Где?

- Бородино. - Корнет махнул рукой на запад. - Верст двадцать отсюда. Кутузов стягивает все силы.

Воронцов посмотрел на своих. Гаврила уже стоял, сжимая топор. Петя бледнел, но молчал. Степан проверял нож. Настя смотрела на него - спокойно, прямо.

- Мы не можем, - сказал Воронцов. - У нас приказ. Мы должны быть в Москве.

- У вас приказ - быть в Москве? - Корнет усмехнулся. - А у меня приказ - собрать всех. И я вас собрал. - Он развернул коня. - Бородино. К полудню. Не приедете - трибунал. А не приедете - французы придут. Сами решайте, что хуже.

Он ускакал. Воронцов стоял, глядя ему вслед.

- Что теперь? - спросил Петя.

Воронцов молчал. Он думал. Бородино - это смерть. Многие не вернутся. Но если они не пойдут - их найдут. И тогда всё, что они сделали, - всё пойдёт прахом.

- Идём, - сказал он наконец. - На Бородино.

- А Москва? - спросила Настя.

- Москва подождёт. Один день. - Он посмотрел на неё. - Если мы не выстоим здесь - Москвы не будет вообще.

Она кивнула.

- Тогда идём.

Они шли быстро, почти бежали. Дорога была забита войсками. Солдаты пели. Кто-то молился. Кто-то молчал. Воронцов смотрел на них и думал: вот они, те, кто завтра умрёт. Может быть, и он. Может быть, и все они.

Бородинское поле они увидели к полудню. Оно было огромным - необъятным, до горизонта. И оно было заполнено людьми. Тысячи, десятки тысяч солдат. Пушки стояли рядами, как чугунные звери. Знамена развевались на ветру.

Воронцов нашёл штаб - в избе на краю деревни. Он протолкался к дежурному.

- Поручик Воронцов. Прибыл по приказу.

- В резерв, - сказал дежурный, не поднимая глаз. - Второй корпус. Ждите.

Воронцов вышел. Нашёл своих.

- Ну что? - спросил Степан.

- В резерв. Второй корпус.

- Это хорошо, - сказал Степан. - Резерв - это не передовая. Может, выживем.

- Может, - сказал Воронцов.

Он не сказал главного: резерв вводят в бой, когда всё плохо.

Ночь перед сражением была тихой. Воронцов сидел у костра. Рядом сидели его люди. Молчали.

Петя писал что-то в блокноте. Гаврила точил топор. Степан курил трубку, глядя в небо. Настя перевязывала чью-то руку - солдата из соседнего полка.

Воронцов достал тетрадь. Открыл на последней странице. «Тучков», - сказал он себе. - Павел Тучков. Дворянин. Предатель. Он будет в Москве. И я его найду.

Потом достал медальон Дмитрия. Открыл. Посмотрел на женщину с добрыми глазами.

- Я найду её, - сказал он тихо. - Обещаю.

Настя подошла, села рядом.

- Волнуешься?

- Нет, - сказал он. - Вру.

Она улыбнулась.

- Я тоже. Вру.

Они сидели молча. Где-то вдалеке играли французские горны - тихо, протяжно.

- Завтра будет много раненых, - сказала Настя. - Я буду в лазарете. За линией. Если что...

- Если что - я найду тебя, - сказал он. - Обещаю.

Она посмотрела на него. Долго. Потом сказала:

- Алексей.

Он вздрогнул. Она впервые назвала его по имени.

- Что?

- Ничего. Просто... Алексей. - Она улыбнулась. - Красивое имя.

Он не знал, что сказать. Просто взял её руку. И держал. Молча.

Утром их разбудил грохот. Канонада. Воронцов вскочил. Небо на востоке было серым от дыма. Бородино горело.

- Встать! - крикнул он. - Все встать!

Гаврила уже был на ногах. Петя вскакивал, путаясь в шинели. Степан проверял ружьё. Настя собирала сумку.

- Где второй корпус? - спросил Воронцов.

- Там, - Степан махнул рукой на запад. - У Семёновского.

- Идём.

Они побежали. Поле было в дыму, в огне, в крови. Воронцов не смотрел по сторонам. Он смотрел вперёд.

Штаб второго корпуса - за холмом, у рощи. Генерал - седой, с перевязанной рукой - стоял над картой.

- Поручик Воронцов! - крикнул он. - Ко мне!

Воронцов подбежал.

- Приказ: прорваться к Багратиону. Донесение. - Генерал протянул ему запечатанный пакет. - Он на флешах. Там сейчас жарко. Но донесение важное. Понял?

- Так точно.

- Тогда иди. И постарайся выжить.

Воронцов взял пакет. Обернулся к своим.

- Гаврила, Петя - со мной. Степан, остаёшься с Настей. Защищай.

- Ваше благородие...

- Это приказ, Степан. - Воронцов посмотрел на Настю. - Я вернусь.

- Вернёшься, - сказала она. - Я знаю.

Он кивнул. Потом побежал - на запад, в дым, в огонь, в смерть.

Они бежали через поле. Вокруг рвались ядра. Где-то рядом упал солдат - молодой, с оторванной головой. Воронцов даже не остановился. Просто перепрыгнул. Потом, много позже, он вспомнит это - перепрыгнул. И будет ненавидеть себя. Но сейчас было не до этого.

- Ваше благородие! - крикнул Гаврила. - Слева!

Воронцов обернулся. Французские кавалеристы - драгуны. Они шли на них.

- Ложись! - крикнул Воронцов.

Они упали в грязь. Драгуны пронеслись мимо. Потом ушли. В сторону флешей.

- Вперёд! - крикнул Воронцов.

Они добежали до флешей. Воронцов нашёл Багратиона - тот стоял на бруствере, с саблей в руке.

- Ваше сиятельство! - крикнул Воронцов. - Донесение от второго корпуса!

Багратион обернулся.

- Давай! - Он выхватил пакет. Прочитал. Потом сказал: - Хорошо. Очень хорошо. - Он посмотрел на Воронцова. - Ты кто?

- Поручик Воронцов. Разведка.

- Молодец. Оставайся. Будешь при мне.

Воронцов хотел сказать, что у него другой приказ. Но не сказал. Потому что понял: сейчас это неважно.

Он остался. Весь день он был рядом с Багратионом. Он видел, как французы идут на флеши - раз, другой, третий. Он видел, как русские отбиваются. Он видел, как гибнут целые полки.

А потом Багратион упал.

Ядро ударило в бруствер рядом с ним. Осколок попал генералу в ногу. Он упал, истекая кровью. Воронцов бросился к нему.

- Ваше сиятельство!

- Не... не надо... - прошептал Багратион. - Я... я всё... - Он посмотрел на Воронцова. - Держись, поручик. Держись. За меня. За всех.

Он потерял сознание. Воронцов подхватил его, потащил в тыл.

К вечеру он нашёл своих. Настя была в лазарете - вся в крови, чужая. Гаврила был ранен в плечо, но живой. Петя - живой, но бледный, как смерть. Степан - живой, с перевязанной головой.

- Живы? - спросил Воронцов.

- Живы, - сказала Настя. - А ты?

- Живой.

Он сел на землю. Рядом с ними. Вокруг горело Бородино. Но они были живы. И это было чудо.

- Завтра, - сказал он, - мы идём в Москву.

- Завтра, - согласилась Настя.

Глава 8. Бородино. Кровь

26 августа 1812 года. Бородинское поле. Два часа пополудни.

День превратился в ад.

Воронцов не помнил, как оказался в самой гуще. Он помнил только, что тащил Багратиона в тыл, - а потом всё смешалось: крики, дым, рвущиеся ядра. Он передал генерала лекарям - тем самым, что стояли в овраге, за рощей, с окровавленными фартуками и руками по локоть в крови. Багратион был без сознания, лицо серое, как пепел. Лекарь - молодой, с усами, - взглянул на рану и только покачал головой. «Будем надеяться», - сказал он. Воронцов не стал спрашивать, на что надеяться. Он уже знал ответ.

Он хотел вернуться, но путь назад был отрезан. Французы прорвались через флеши. Русские отступали - не бежали, а отступали, пятясь, огрызаясь штыками. Земля дрожала от канонады. Дым стоял такой густой, что солнце казалось красным пятном, а люди - тенями. Воронцов не бежал. Он стоял с обнажённой шпагой, глядя, как на него надвигается серая масса французской пехоты.

- Ваше благородие! - Гаврила появился рядом, с окровавленным топором. - Надо уходить! Их много!

- Куда?

- Туда! - Гаврила махнул на восток, где за дымом угадывались новые линии русских войск. - Там наши! Я видел!

Они побежали. Вокруг падали люди. Воронцов спотыкался о тела. Он видел лицо молодого солдата - простреленное, с открытыми глазами. Он перешагнул через него. Потом будет ненавидеть себя. Но сейчас было не до этого.

Он видел женщину - сестру милосердия, как Настя, - которая ползла по земле, оставляя кровавый след. У неё было разорвано бедро, и она ползла, цепляясь руками за траву, к раненым. Она не кричала. Она просто ползла. Воронцов не мог ей помочь. Он бежал дальше.

Они добрались до русских линий. Здесь был штаб. Здесь был Кутузов - старый, грузный, в накинутом на плечи сюртуке, с перевязанным глазом. Он сидел на складном стуле у стола с картой.

- Ваша светлость! - крикнул Воронцов. - Багратион ранен! Флеши оставлены!

Кутузов посмотрел на него. Долго.

- Знаю, голубчик. Знаю. - Он перекрестился. - Царствие ему небесное. А мы... мы будем стоять. До конца.

Тут рядом упало ядро. Все бросились врассыпную. Воронцов упал в грязь. Взрыв. Осколки. Крики.

Он поднял голову. Генерал, стоявший рядом с Кутузовым, лежал без ног. Кутузов был жив - бледный, но живой.

- Чего стоишь, поручик? - сказал он. - Иди. Воюй.

Воронцов побежал.

Он нашёл Петю в роще - мальчишка сидел под деревом, прижимая к груди окровавленную руку. Лицо у него было белое.

- Петя!

- Ваше... ваше благородие... - Петя попытался встать, но не смог. - Я... я не могу... рука...

Воронцов опустился рядом. Осмотрел руку. Осколок - небольшой, но глубокий - вошёл в предплечье. Кровь шла сильно. Он достал из сумки бинт, начал перевязывать.

- Терпи, Петя. Терпи.

- Больно... - прошептал Петя. - Очень больно...

- Знаю. Терпи.

Он перевязал руку. Потом взвалил Петю на плечи. Мальчишка был лёгкий. И горячий - начиналась лихорадка.

- Держись за меня. Крепче.

Они пошли. Медленно. Воронцов не думал, куда идёт. Он просто знал: надо туда, где лазарет.

Лазарет был адом.

Воронцов нашёл его в овраге - большой шатёр, забитый ранеными. Стоны, крики, запах крови и гноя. Сестры милосердия бегали между рядами, лекари оперировали прямо на земле. Настя была здесь - вся в крови, с растрёпанными волосами. Она стояла над раненым - молодым офицером с разорванным животом - и говорила ему что-то тихое. Он смотрел на неё и улыбался.

- Настя! - крикнул Воронцов.

Она обернулась. Увидела его. Увидела Петю на его плечах. Бросилась к ним.

- Кладите сюда! - Она показала на свободное место. - Быстро!

Воронцов положил Петю. Настя склонилась над ним, осмотрела руку.

- Осколок. Нужно вытащить. - Она посмотрела на Воронцова. - Ты иди. Я справлюсь.

- Настя...

- Иди! - крикнула она. - Там люди умирают! Иди!

Он ушёл. Оглянулся у выхода - она уже склонилась над Петей, что-то говорила ему, и Петя кивал, стиснув зубы.

К вечеру он снова был на поле. Бой не прекращался.

Воронцов нашёл Степана - тот был в цепи стрелков, у леса. Лицо у него было чёрное от пороха.

- Ваше благородие! - крикнул он. - Живой!

- Живой! - Воронцов подбежал к нему, пригнувшись. - Где Гаврила?

- Там! - Степан махнул на запад. - У батареи. Ядро рядом упало. Не знаю, живой ли.

Воронцов побежал.

Он нашёл Гаврилу у разбитой пушки. Тот сидел на земле, привалившись к колесу. Плечо у него было разорвано - осколком, глубоко, до кости. Но он был жив. И он улыбался.

- Ваше благородие... - прохрипел он. - А я думал... думал, всё...

- Живой, - сказал Воронцов, опускаясь рядом. - Живой, чёрт тебя дери.

Он перевязал Гаврилу - как мог, на скорую руку, оторвав рукав собственной рубахи. Потом помог ему встать.

- Идём. К своим.

Они пошли. Медленно. Гаврила хромал, но не жаловался. Воронцов поддерживал его.

Ночь пришла как избавление. Бой стих. Воронцов сидел у костра в лагере, рядом с ним - Гаврила, перевязанный, бледный. Степан спал, прислонившись к дереву. Петя лежал в лазарете - Настя сказала, что рука будет жить, но осколок задел сухожилие, и он больше не сможет держать саблю.

Настя пришла через час. Усталая, с красными глазами, в крови. Она села рядом. Молча.

- Петя? - спросил Воронцов.

- Живой. Спит. - Она помолчала. - Рука... он не сможет больше воевать.

- Он жив. Это главное.

- Да. - Она посмотрела на него. - А ты?

- Живой.

- Я вижу. - Она вдруг улыбнулась. - Ты весь в крови.

- Чужой.

- Я знаю. - Она взяла его за руку. - Я всегда знаю.

Они сидели молча.

- Завтра, - сказал Воронцов, - мы идём в Москву.

- Завтра, - согласилась она. - Но сначала поспи. Хоть час.

Он хотел возразить. Но глаза уже слипались. Он прислонился к дереву, закрыл глаза. И заснул.

Утром он узнал, что русская армия отступает. К Москве. К последней черте.

Он собрал своих - тех, кто остался. Гаврила - с перевязанным плечом, но живой. Степан - с разбитой головой, но живой. Петя - бледный, с рукой на перевязи, но живой. Настя - усталая, но живая.

- Идём, - сказал он. - В Москву. Мы должны успеть.

Они двинулись в путь.

Глава 9. Ночь после битвы

26 августа 1812 года. Бородино. Одиннадцать часов вечера.

Костёр догорал. Угли подёрнулись седым пеплом, и только в середине, где ещё оставалось несколько головешек, дрожало красное свечение - слабое, неровное, как последний вздох умирающего. Оно то разгоралось, то почти гасло, и тени вокруг то наплывали, то отступали. Воронцов сидел на земле, не чувствуя холода.

Он вообще ничего не чувствовал. Ни холода, ни голода, ни усталости - хотя не спал вторые сутки и не ел с утра. Только какую-то странную, глухую пустоту внутри, будто из него вынули что-то важное и забыли положить обратно. Как будто внутри него выгорело поле - то самое поле, на котором они стояли весь день. Только там, на поле, ещё что-то горело, а здесь - уже нет. Только пепел. Только тишина.

Руки были в крови - чужой, засохшей, - и он машинально тёр их о траву, но кровь не сходила. Она въелась в кожу, в линии ладоней, под ногти, в трещины на пальцах. Он смотрел на свои руки и не узнавал их. Это были не его руки. Его руки держали перо, перелистывали книги, гладили лошадиную морду. А эти - эти убивали. Эти тащили раненых. Эти закрывали глаза мёртвым. Как будто руки жили отдельно от него. Как будто они делали то, что он не мог остановить.

Рядом спал Гаврила - тяжело, с хрипом, с присвистом. Плечо у него было перевязано наспех, бинт пропитался кровью и засох, стал жёстким, как кора, - Воронцов сам перевязывал его, оторвав рукав собственной рубахи. Ткань прилипла к ране, и он знал, что утром придётся отмачивать её водой, иначе Гаврила закричит от боли. Гаврила спал, и лицо у него было спокойное - как у ребёнка. Даже морщины разгладились, даже борода казалась мягче. Он улыбался во сне - чуть заметно, одними губами. Воронцов смотрел на него и думал: вот человек, который мог бы сейчас быть дома. С женой. С детьми. С теми самыми пацанами, о которых он говорил, - старшим, который уже помогал по хозяйству, и младшим, которому был всего год и который ещё не умел ходить. Он мог бы сидеть на крыльце, смотреть на закат и ни о чём не думать. Но он пошёл. Пошёл за ним, за Воронцовым. Почему? Что он ему? Никто. Просто офицер. Просто человек, который однажды вытащил его из-под огня. Но разве этого достаточно, чтобы умереть? Разве этого достаточно, чтобы лежать здесь, на земле, с разорванным плечом, и улыбаться во сне?

Воронцов не знал ответа. И, наверное, никогда не узнает. Он только знал, что Гаврила здесь. И что это - его вина. И что он сделает всё, чтобы этой вины не стало больше.

Степан лежал на спине, открыв рот, и храпел. Храп был громкий, с переливами, - Степан храпел так всю жизнь, и все, кто с ним служил, давно привыкли и даже находили в этом что-то успокаивающее. Он был ранен в голову - осколок рассек кожу над бровью, но кость выдержала. Степан сам перевязался, сказал: «До свадьбы заживёт», - и заснул. Он всегда так говорил. Всегда. Как будто ничего не могло случиться. Как будто смерть - это что-то, что бывает с другими. Воронцов знал, что это не так. Но в Степане была эта странная, упрямая уверенность, которая заражала. С ним было не так страшно. Даже сейчас. Даже когда вокруг горело Бородино и в воздухе стоял запах крови и пороха.

Петя был в лазарете. Настя сказала: жив, но рука не будет служить. Осколок задел сухожилие. Мальчишка больше не сможет держать саблю. Воронцов думал об этом и чувствовал что-то, похожее на вину. Он взял Петю с собой. Он уговорил его. Он сказал: «Ты нужен». А теперь Петя лежит в лазарете, с рукой, которая никогда не будет прежней. И это - его вина. Воронцова. Потому что он не уберёг. Потому что не досмотрел. Потому что не смог. А Петя - мальчишка. Девятнадцать лет. Он ещё стихи писал. Плохие, но искренние. «И если страшно - значит, ты живой». А теперь он лежит в лазарете, и рука у него не двигается, и он, наверное, плачет. Или молчит. Или читает свои стихи - тихо, себе под нос, чтобы никто не слышал.

Настя пришла, когда костёр уже почти погас. Она опустилась рядом - тихо, без слов, - и Воронцов почувствовал запах карболки и чужой крови, который шёл от неё. Она была вся в этом запахе - пропиталась им, как пропитывается одежда дымом. Лицо у неё было бледное, осунувшееся, с тёмными кругами под глазами, но глаза - живые. Как будто внутри неё горел какой-то свой огонь, который не мог погасить даже этот день. Она молчала. Он молчал. Они сидели рядом, и это молчание было лучше любых слов.

- Не спится? - спросила она наконец.

- Нет.

- Я тоже не могу. - Она помолчала. - В лазарете сегодня... Я насчитала сто двенадцать. Только за вечер. А сколько ещё будет к утру...

- Ты не должна считать.

- Должна. Кто-то должен. - Она посмотрела на него. - Иначе они просто цифры. А они - люди. У каждого было имя. Мать. Может, жена. Может, дети. - Она помолчала. - Я сегодня держала за руку одного мальчика. Лет восемнадцать. Ему оторвало обе ноги. Он не кричал. Он просто смотрел на меня и говорил: «Сестрица, скажите маменьке, что я не боялся». А я не знала, что сказать. Я сказала: «Скажу». А он умер через минуту. И я даже не знаю, как его зовут.

Воронцов ничего не сказал. Он не знал, что сказать. Он вообще не знал, что говорят в таких случаях. Есть слова, которые должны быть, - но их нет. Есть только тишина. И эта тишина была правильной. Потому что слова были бы ложью. А ложь он не мог себе позволить. Даже сейчас. Особенно сейчас.

- Расскажи мне что-нибудь, - вдруг попросила она. - Что-нибудь... не про войну. Про жизнь.

Он задумался.

- Я не мастер рассказывать, - сказал он.

- А ты попробуй.

Он помолчал. Потом сказал:

- У меня был брат. Митя. Младший. Он умер три года назад. Лихорадка. - Воронцов смотрел на угли. - Он был... смешной. Всё время что-то придумывал. То хотел построить воздушный шар, то - найти клад. То - убежать в Америку. Мать плакала, отец сердился. А я... я завидовал. Потому что я был старшим. Мне нельзя было мечтать. Надо было служить. А он мог. Ему всё прощалось. - Он усмехнулся. - Я злился на него. Иногда. А потом он умер. И я понял, что злился зря.

Он замолчал. Вспомнил, как Митя бежал по двору с самодельным воздушным шаром - бумажным, склеенным из старых писем. Шар не полетел. Упал в лужу. Митя расплакался. А он, Алексей, стоял и смеялся. Не зло - просто смеялся. А Митя смотрел на него и тоже начинал смеяться. Сквозь слёзы. «Лёша, я ещё сделаю. Вот увидишь. Я полечу». И он верил. В свои шестнадцать лет он верил, что полетит. А потом умер. Тихо, во сне. Лихорадка. Врач сказал: «Не мучился». Но Воронцов знал, что это не так. Он мучился. Просто не показывал. Как не показывал ничего. Как все они.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.